

Б И Б Л И О Т Е К А

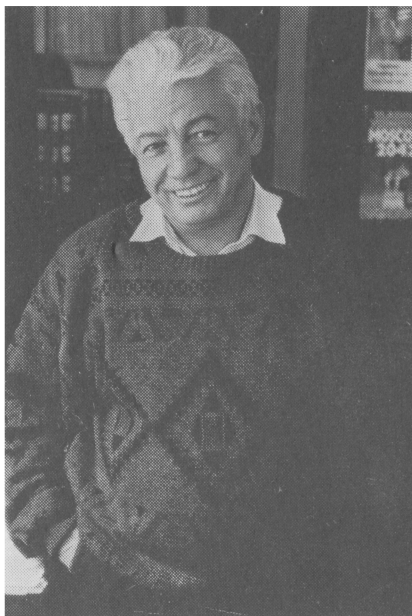
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 14

1990



Владимир ВОЙНОВИЧ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 14

Издается с января 1925 года

Владимир ВОЙНОВИЧ

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

В январе 1980 года, сразу после того как академика А. Д. Сахарова выслали в Горький, писатель Владимир Войнович отправил в газету «Известия» такое письмо:

«Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова».

Это было последней каплей. Примерно месяц спустя на квартиру Войновича явился человек в штатском, назвавшийся работником то ли райкома, то ли райисполкома. Он сказал:

— Ваш конфликт с Советской властью и с советским народом принял такие формы, что терпеть этого мы больше не намерены.

Войнович вынужден был покинуть Родину, а вскоре указом А. Брежнева был лишен советского гражданства.

На самом деле никакого конфликта у Войновича с советским народом и даже с Советской властью не было. Конфликт у него был с теми, кто всей своей деятельностью дискредитировал Советскую власть, нагло отождествляя себя с нею.

Именно поэтому, прочитав указ Брежнева, Войнович отправил его автору такое письмо:

«Господин Брежнев,

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрывал престиж советского государства. У советского государства благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недалеком времени все Ваши указы, лишаящие нашу бедную родину ее

культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине».

В июле 1981 года, когда было написано это письмо, содержащееся в нем пророчество воспринималось как совершеннейшая утопия. В лучшем случае — как остроумная шутка.

Сегодня оно стало реальностью.

Однако письмом Брежневу Войнович не ограничился. Он продолжал размышлять о людях, всеми поступками и делами своими ежедневно, ежечасно унижающих нашу страну, разбазаривающих все ее богатства, лишаящих ее чести, достоинства, национального престижа. Ведь именно их, всех этих людей, а не его и ему подобных по справедливости следовало бы считать занимающимися самой что ни на есть настоящей антисоветской деятельностью.

В результате всех этих размышлений родилась книга, которую Войнович с присущей его мышлению остротой и парадоксальностью назвал — «Анτισоветский Советский Союз».

Очерки и фельетоны, предлагаемые вашему вниманию, взяты нами из этой книги, вышедшей в американском издательстве «Ardis» в 1985 году.

Бенедикт САРНОВ

МОЛОТКАСТЫЙ-СЕРПАСТЫЙ

Поговорим сначала о советском паспорте. Помните, у Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Сказано, конечно, здорово. Сильно. Но насчет того, чтоб завидовать, это, пожалуй, слишком.

Помню, путешествовали мы как-то с женой летом на «Запорожце». Не на том горбатом, который, по уверению остряков, от собак на деревья залезал, как кошка, а на «Запорожце 968», более новой конструкции. Он, конечно, покрасивее был старого, но и покапризнее. Глох в самых неудачных местах. То во время обгона на узкой дороге, то на железнодорожном переезде. Но тем не менее мы на нем всю Прибалтику исколесили.

Обратно через Минск возвращались. Решили там отдохнуть. Сунулись в одну из центральных гостиниц. И тут стихи Маяковского мне сразу припомнились.

«К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтеньем берут, например, паспорта с двупальным английским левую». К датчанам и разным прочим шведам относятся тоже неплохо, а вот на польский, точно по Маяковскому, глядят, действительно, как в афишу коза. Ну, а что касается советского паспорта, то к нему, молоткастому-серпастому, отношение, и правда, самое плевое. Опытный гражданин с этой краснокожей паспортиной к окошечку даже не суется, он заранее знает, куда его с этим документом пошлют.

Один неопытный как раз передо мной стоял в очереди. Ему говорят: «Мест нет, ожидаем западных немцев». Вылез гражданин несолоно хлебавши из очереди и говорит мне, шепотом, разумеется. «Я, — говорит, — здесь в Минске во время немецкой оккупации был и на этой же гостинице было написано: «Только для немцев». И сейчас, выходит, только для немцев. Кто ж кого победил?»

Ну, я-то был поопытнее этого гражданина, я знал, что и с советским паспортом тоже можно устроиться, если к нему есть необходимое дополнение. Допустим, если в него вложить соответствующий денежный знак. Тут тоже надо иметь большой такт: правильно оценить класс

гостиницы, время года, личные запросы администратора и положить так, чтоб было не слишком много, но достаточно. Много дашь — себя обидишь, мало дашь — администратор обидится, и скандал подымет, и в попытке всучения взятки обвинит. Так что с денежными знаками надо очень осмотрительно обращаться. Да и вообще давать взятки — это не каждый умеет. А вот если у вас есть какая-нибудь такая маленькая книжечка, да еще красного цвета — это совсем другое. В этом смысле хорошо быть Героем Советского Союза, депутатом или лауреатом. К книжечке с надписью «Комитет государственной безопасности» тоже улыбка у рта, как к английскому леве. Хорошо иметь журналистское удостоверение. Особенно от журнала «Крокодил». Удостоверение Союза писателей в списках особо важных не значится, но действует. Администраторы гостиниц пишущих людей опасаются.

Так вот в Минске, стало быть, как дошла моя очередь, я паспорт в окошко сунул, а сверху писательское удостоверение. И во избежание недоразумения сразу представился: «Писатель из Москвы, прибыл в сопровождении жены со специальным заданием». Старший администратор в восторге, средний администратор тоже. Тут же предложили мне лучший номер, а для машины охраняемую стоянку. А вот когда пропуск на машину выписывали, тут у меня небольшая промашка вышла. Спросил администратор и записал сначала номер моей машины, а потом, какой она марки. А я, по свойственному мне простодушию, говорю: «Запорожец». Администратор даже вздрогнул от нанесенного ему оскорбления, рука у него застыла, само слово это «Запорожец» — выводить не хочет.

Жена поняла мою оплошность и, прикинув к окошку: «Новый, — кричит, — «Запорожец», новый!»

А администратору, конечно, все равно, старый у меня «Запорожец» или новый, все равно консервная банка, хотя и подлиннее. Уж кто-кто, а администратор хорошей гостиницы знает, что настоящие важные люди меньше, чем на «Жигулях», не ездят.

Я потом из этого случая урок извлек и в следующие разы на вопрос, какая у меня машина, отвечал загадочно: «Иномарка». А тут, конечно, номер нам с женой уже был выписан и никуда не денешься, но администратор смотрел на меня волком, пока я, как бы извиняясь за свой «Запорожец», не подарил ему пачку венгерских фломастеров.

Тут и другая тема сама собой возникает: об отношении разных представителей власти к маркам автомобилей. Каждый милиционер знает, что с водителя «Запорожца» можно содрать рубль всегда, даже если он ничего не нарушил. С водителем «Жигулей» надо обращаться по-вежливей, владелец «Волги» вообще может оказаться довольно важной персоной, его лучше и вовсе не трогать. А уж «Чайкам» и «Зилам» надо честь отдавать независимо от того, кто в них сидит. Впрочем, о машинах как-нибудь в другой раз. Вернемся к нашей теме о паспорте.

Есть у меня один знакомый. Американец. Профессор. По фамилии, представьте себе, Рабинович. Так вот этот самый Рабинович, который профессор, жил, значит, короткое время в Москве, в гостинице «Россия». А его дружки, тоже американцы, поселились в то же самое время в гостинице «Метрополь». Так вот этот профессор, который Рабинович, решил зачем-то их навестить. Явился в гостиницу «Метрополь» и пошел к своим дружкам безо всяких препятствий. Ну, посидели они, как водится, выпили джин или виски, само собой, без закуски, почесали языками, да и пора расходиться. Откланялся Рабинович, выходит из гостиницы «Метрополь», за угол к площади Дзержинского заворачивает. Тут его двое молодцов, не говоря худого слова, хватают, руки за спину крутят и запикивают в серый автомобиль.

— Что? — кричит Рабинович. — Кто вы такие и по какому праву?

— А вот это мы тебе скоро как раз объясним, — обещают молодцы многозначительно.

Везут, однако, не в КГБ, а в милицию. Волокут в отделение и прямо к начальнику. Докладывают: «Так, мол, и так, захвачен доставленный гражданин с поличным при посещении в гостинице «Метрополь» американских туристов».

— Ага, — говорит начальник и вперяет свой взор в Рабиновича. — Как твоя фамилия?

Рабинович говорит: «Рабинович!»

Само собой, от подобного обращения немного струхнув.

— Ах, Рабинович! — говорит начальник, довольный не столько тем, что еврейская, а тем, что простая фамилия. Такая же простая, как Иванов.

— Да ты что, — говорит, — Рабинович! Да кто тебе разрешил, Рабинович? Да я тебя, Рабинович!

И руками машет чуть ли не в морду. Потом все же гнев свой умирил и прежде, чем в морду заехать: «Паспорт, — говорит, — предъяви!»

Рабинович, само собой, руки дрожат, достает из не очень широких штанов, но не красно-, а синего цвета паспортину. А на ней никаких тебе молотков, никаких таких сельскохозяйственных орудий, а такая, знаете ли, золотом тисненая птица, вроде орла.

Начальник взял это в руки, ну точно по Маяковскому, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую. Ну и, само собой, как гремучую, в двадцать жал, змею двухметроворостую.

— А, так вы, стало быть, Рабинович, — говорит начальник и сам начинает синеть под цвет американского паспорта. — Господин Рабинович! — делает он ударение на слове «господин» и краснеет под цвет советского паспорта. — Извините, — говорит, — господин Рабинович, ошибка произошла, господин Рабинович, мы, господин Рабинович, думали, что вы наш Рабинович.

Опомнился Рабинович, взял свой паспорт обратно.

— Нет, — говорит с облегчением. — Слава Богу, я не ваш Рабинович. Я — их Рабинович.

Советский паспорт, советское гражданство... Сколько возвышенных слов сочинено о том, какая честь быть гражданином СССР. Честь, конечно, большая, но туго приходится тем, кто пытается от нее отказаться. В советских тюрьмах и лагерях, помимо действительных преступников, которые, кстати, тоже имеют честь быть гражданами СССР, есть и узники совести, а среди них те, кто хотел отказаться от этой чести, кто просил лишить его звания гражданина СССР. В этом отказе и состоит их преступление. Мой знакомый, писатель Гелий Снегирев несколько лет назад послал свой паспорт тогдашнему главе государства Брежневу и написал, что отказывается от звания советского гражданина. За это тяжело больной Снегирев был арестован, замучен и умер в тюремной больнице.

На Западе есть миллионы бывших советских граждан, которые много лет назад по своей или не по своей воле оказались за пределами своего отечества. Многие из оставшихся здесь уже состарились, у них здесь родились дети и внуки, сами они давно пользуются паспортами тех стран, в которых живут, некоторые и по-русски говорить разучились. А советское государство все их считает своими гражданами, несмотря на их письма, заявления и протесты. Для чего? Для того, чтобы наказать их при случае по всей строгости советских законов как своих собственных граждан. Не делая большого различия между теми, кто действительно когда-то совершал преступления, и теми, кто всего лишь не хотел быть гражданином страны Советов.

И в то же время советские власти лишение гражданства применяют как меру наказания чаще всего к деятелям искусства и литературы. Напомню, что этому наказанию были подвергнуты такие знаменитые на весь мир люди, которыми могла бы гордиться любая страна. К лишению гражданства эти люди, любящие свою родину и свой народ, отнеслись с болью и негодованием. А иногда это повод для горьких шуток. Один из лишенных гражданства, которому завидуют другие, желающие быть лишенными, вырезал из газеты указ Президиума Верховного Совета СССР, заключил его в рамку и повесил на стену. И приходящим к нему гостям говорит:

— Читайте, завидуйте, я — НЕ гражданин Советского Союза!

ЗЕМЛЯКИ

Вот я уже даже не помню в каких книжках, но в каких-то во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом: во время войны, и особенно на иностранной территории, встречаются русские советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» Ну, и несутся из разных углов ответы: «Из Воронежа!» «Из Тамбова!» «Из Уссурийска!»

Земляки. Хотя и клещут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, а все же нежно друг к другу относятся. Какие ни на есть косопузы, водохлебные и волкастые, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда, земля? Оттедова.

Но это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца: «Вы откуда?» «Я из Оклахомы». «А я из штата Мичиган». «Файн! Замечательно! Неужели это возможно?»

Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречает немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники. Потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут.

Встретились, допустим, два конголезца, у них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, Московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл.

А вот что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете?

У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот: товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Ну и вот, идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Вдруг подлетает к нам другая пара.

— Вы русские?

— А какие же еще? Конечно, русские!

— И мы русские! Из Москвы!

— И мы из Москвы.

— Надо же, земляки! Мы живем на улице Дыбенко. А вы на какой?

— А мы жили на Черняховского.

— Ну как же, как же, знаем, это возле метро «Аэропорт». Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете?

— Там прямо рядом и жили, а теперь вот переехали.

— Переехали? Из такого хорошего района. И на какой же вы улице теперь живете?

— А теперь мы живем на улице Ханс-Кароссаштрассе.

Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой, до него не сразу это сообщение доходит.

— Как вы сказали... Ханс-Каросса... так вы, значит, извините, эмигранты?

— Вот именно, что эмигранты. Отщепенцы.

— А, ну тогда извините.

И — бежать. Только мы их обоих и видели.

Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя. И каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане — люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин зажимались, а от эмигрантов шарахались, как от чумных. Ну, они и шарахаются, боясь не столько провокаций со стороны эмигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей.

И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова.

Но иногда уклониться трудно.

Совсем недавно решили мы поехать в горы покататься на лыжах. Здесь в Мюнхене погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули, нам полицейский машет, давай, проезжай, не задерживай. Ну, приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу «осторожно!» кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет десяти, красивая, черноглазая. Смотрит на нашу дочку и говорит: «Вы русские?» — «Русские». — «А откуда?» — «А ты откуда?» — «А я из Москвы». Ну конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас где она живет, откуда сюда, на курорт, приехала? Я, естественно, спрашиваю ее об этом: откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена? А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы, вот мы сюда и приехали на пять дней покататься на лыжах». — «Прямо так вот взяли и приехали?» — «Ну да. А что? Прямо так вот и приехали».

А в глазах ее, я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно поехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует и так бочком-бочком от нас постепенно уходит.

А я смотрю на нее и думаю: каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся?

Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники.

В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню.

Не считая, впрочем, моего бывшего соседа Иванько, который был тогда полковником КГБ, а теперь уже, кажется, дослужился до генерала. Вот этот Иванько, он ездит. И с женой, и с ребенком. И по служебным делам, и так, погулять. Не знаю, как сейчас, а раньше он любил проводить отпуск в Ницце. Нет, чтобы, как другие, отправиться с рюкзаком по Подмосквью или со спальным мешком на Кара-Даг. Дорвавшись, дослужившись, выслужившись, пользуется он самой немыслимой для советского человека привилегией и ездит куда хочет. Так же, примерно, как мы.

Но возвращаясь к нашей новой знакомой, к Варе. Вот приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков — немецких, французских, итальянских, американских, — которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста.

Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркое, с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы, на которые владделец, может, целый год по двадцатке откладывал.

А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А вот эти выездные товарищи, вроде Вариных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-Кола» носят, а надписью «Стройотряд № 4» брезгуют.

И они же, вот эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А слышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук: «Вы русские?» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову кидаемся наутек.

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

Довольно много пишут сейчас в советской прессе о хлебе. Не надо его есть слишком много, будете толстыми. Впрочем, и мясо, говорят, чресурсы потреблять не следует, и тоже во избежание полноты. Хотя волки, скажем, мясо едят, а особо толстыми не бывают. Впрочем, волки едят по-дикому, не научно. А у нас все на научную ногу крепко поставлено. И как только нехватка того или иного продукта возникает, тут же находятся доктора соответствующих наук, которые пишут в центральной печати большие научные статьи, что вредно кушать то, чего нет. С чем, понятно, трудно не согласиться.

В одной советской газете я читал об искусном поваре, который готовит пятьсот блюд из картофеля. Это, конечно, если есть картофель (я помню, даже в Москве и с картофелем перебои бывали). Пятьсот блюд — это, надо прямо сказать, немало. Я, как ни ломал голову, больше пятнадцати придумать не сумел. А если этот повар такой изобретательный, что придумал пятьсот, то я могу ему предложить пятьсот первое.

Во время войны наша семья жила некоторое время под городом Куйбышевом. Лето сорок третьего года было еще ничего, а с осени пошло к худшему. В нашей семье было трое рабочих, которые работали на военном заводе и получали пайки по семьсот граммов хлеба, тетка, служащая, получала то ли пятьсот, то ли четыреста граммов (точно не помню), и мы с бабушкой, иждивенцы, по двести пятьдесят. И толстыми не были.

С нами жил еще кролик, которого мы приобрели, чтобы потом съесть, но потом (так у нас всегда было с нашими животными) мы с ним так сжились, так его полюбили, что убить его было просто невозможно. Так вот мы совсем не были толстыми. И даже наоборот, изо дня в день худели более интенсивно, чем при соблюдении самой строгой современной диеты. И кролик наш тощал вместе с нами. А потом, когда наступила совсем уже полная голодуха, кролик этот от нас сбежал, видно, предпочтя быструю смерть от руки решительного человека медленной голодной смерти вместе с такими гуманистами, как мы. Правду сказать, пока этот кролик был с нами, мы его порядочно объедали, а когда пропал, спекулировали его честным именем. Дело в том, что я ходил к расположенным рядом с нами солдатам и на кухне просил картофельные очистки «для кролика». И солдаты все удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?» Они не знали, что у кролика было шесть нахлебников. Если бы мы не стеснялись и попросили картошку, солдаты вряд ли бы нам отказали, потому что у них ее было много, чистили они ее неэкономно. Из этих толстых очистков мы пекли на каком-то чуть ли не машинном масле блины. И они мне тогда казались безумно вкусными. Так что искусному повару я мог бы предложить и это пятьсот первое блюдо на всякий случай.

Но вернемся, однако, к хлебу.

Сколько читал я гневных строк в стихах и в прозе о людях, которые забыли войну и блокаду Ленинграда и швыряют хлеб в мусоропровод буханками. Я думаю, стихов об этом гораздо больше, чем самих подобных поступков.

Но если бы речь шла только о буханках! Печать и гневно, и лирически, и романтически призывает народ беречь и использовать каждый кусочек, каждую корку, каждую крошку. Уронил кусок на пол, подуи на него, поплрой, съешь. Засох этот кусок, не по зубам, размочи в воде, съешь. А если даже и позеленел, то ведь тоже надо помнить, что в плесени содержится пенициллин.

Прочел я как-то в «Неделе», что в каком-то районе города Киева приняты серьезные меры. В магазинах не только развешаны рекомендации по приготовлению блюд из черствого хлеба (сами эти рекомендации достойны отдельной поэмы), но и сбор крошек организован.

Да что же это такое, товарищи? Ну, бережное отношение к хлебу, конечно, необходимо, но не подбирать же всякий кусок, на который случайно ногой наступил, не склевывать же каждую крошку, которая под стол залетела. Не воробы же мы в конце концов, не кусочники, не крохоборы! И зачем же нас столько лет попрекать войной и ленинградской блокадой? Уже посидели и облысели люди, которые родились после войны и тем более после блокады.

В Советском Союзе ежедневно показывают по телевизору тружеников села, комбайнеров и трактористов с покрытыми пылью лицами, которые ведут битву за урожай. А я вот живу уже четвертый год на Западе и никаких особых сражений и битв за урожай здесь не замечаю. Никаких комбайнеров и трактористов по телевизору ни разу не видел, в газетах призывов подбирать крошки не нахожу, а в магазинах всего полно.

А куда ж наш-то хлеб девается при таких гигантских усилиях?

Вот, говорят, есть еще несознательные граждане, которые кормят хлебом свиней. Об этих свинодержателях и в газетах пишут, и даже в тюрьму их нет-нет да и сажают.

Кстати, насчет свиней. Как-то лет десять тому назад провел я месяц в городе Клинцы Смоленской области. Ну и, понятно, посещал иногда местные продуктовые магазины. Нормального мяса там, конечно, не было. И колбасу с зеленым отливом можно было достать только по праздникам. Зато в изобилии были свиные хвосты и копыта. Из них местные жители варили холодец.

Ну, некоторые критиканы, конечно, и здесь находились, ругались, что их кормят только копытами и хвостами. Другие, благоразумные, говорили: зажрались. И опять поминали войну и блокаду. А я, не поддерживая ни тех, ни других, думал: откуда же столько хвостов и копыт? И куда делось то, на чем они произрастали, то есть сами свиньи? Ну, конечно, Клинцы — город советский. И райком, и райисполком в нем имеются. Но не могли же ответственные работники, сколько бы их ни бы-

ло, слопать всех этих свиней, оставив неотвественному населению только хвосты и копыта! Тем более что район в общем-то сельскохозяйственный и свиней в нем при всех условиях должно быть больше, чем руководящих товарищей.

А в другом городе, где уже не было ни хвостов, ни копыт и с хлебом перебои, я и вовсе задумался. Ну, хлеба нет, это понятно, его свиньи съедают. А где же все-таки сами свиньи?

И только уже потом, в Москве, меня надоумили. Вез я как-то в троллейбусе кошку к ветеринару. И сам вел себя тихо, и кошка никому не мешала. Так одна агрессивная старушка напала на меня самым зверским образом. «Вот,— говорит,— почему мяса нет, потому что всякие несознательные люди собак и кошек разводят». И другие пассажиры ее весьма решительно поддержали. Я даже забеспокоился, как бы они моей кошке суд Линча не устроили. Да и мне заодно. Подальше от греха, вылез я из троллейбуса и пошел пешком не к доктору, а домой. С кошкой на руках. Дома поругался с женой из-за не сделанной кошке прививки и вовсе расстроился. Расстроившись, выпил, конечно, водки. Водка, само собой, дрянь, сучок, сделана из опилок, потому что, если уж свиньям нельзя хлеб скармливать, то не переводить же его на водку. Водку, значит, выпил, стал искать, чем закусить. Хлеба нет, свиньи сожрали. Свинины нет, кошка съела. Взял огурец, его ни свинья, ни кошка есть не станут, потому что соленый. А кошка под ногами мяучит, есть просит. Налил ей молока, хорошо, старуха из троллейбуса не видит. Сам выпил еще сучка, снял с полки книгу предреволюционного писателя Власа Дорошевича, лег на диван, стал читать. Пишет Дорошевич, как Шаляпин выступал в Италии, а итальянские газеты писали, что возить в Италию певцов из России такая же дикость, как ввозить в Россию пшеницу. Я подумал, надо же! Неужели ввозить в Россию пшеницу действительно казалось тогда диким? А потом подумал: а ведь и правда дико. Ведь Россия, или точнее Советский Союз, такая огромная страна, в ней есть земли и засушливые, и болотистые, и промерзшие, но есть неплохие, хорошие и даже отличные. Ну и климат. В сочетании с колхозной системой он, конечно, ужасен. Но сам по себе, местами суровый, а местами вполне неплохой. И пищи на этих землях и при этом климате можно выращивать столько, чтобы хватало и для нас, и для свиней, и для кошек.

Конечно, даже и в изобилии хлеб беречь надо как всякий продукт человеческого труда. Но не настолько, чтобы готовить специальные блюда из засохших корок, подбирать крошки или уроненный на пол кусок. Пусть его съест свинья. Не такое уж это кошунство, если помнить, что мы сами эту свинью съедаем. Когда удастся ее достать.

НАШ ЧЕЛОВЕК В СТАМБУЛЕ...

Очень важная вещь в жизни советского человека — анкета. Просто, знаете ли, вещь, достойная быть воспетой. Будь я сочинителем од, я бы одну из них посвятил этому незаменимому изобретению бюрократического ума.

Анкеты бывают разные. Бывают попроще, бывают потруднее, а бывают такие, что черт ногу сломит. Сложность анкеты возрастает в зависимости от значения того места, которое человек хочет при помощи этой анкеты занять. Например, когда я работал плотником, мне при поступлении на работу анкету давали самую простую. Вернее, даже и не анкету, а листок по учету кадров. Я уж точно не помню, но, по-моему, там только спрашивали фамилию, имя, отчество, год рождения, профессию и разряд. А после этого топор в руки, и иди трудись, партия тебе доверяет. Но чем лучшее место хочет занять тот или иной товарищ, тем меньше партия ему доверяет, тем больше вопросов задает и с тем большим подозрением вглядывается в ответы.

Первую подробную анкету мне выдали, когда я поступал в пятидесятом году в Запорожский аэроклуб. Я не помню уже, сколько там было вопросов, сорок или пятьдесят, но некоторые произвели на меня впечатление и запомнились до сих пор. Несмотря на то, что я родился в 1932 году, т. е. через пятнадцать лет после революции, я должен был ответить на вопрос, служил ли я в Белой армии, где, когда и в каком чине. Состоял ли в каких-либо политических партиях. Ну, само собой, есть ли родственники за границей, и если есть, кто они, как можно подробнее. Почти на все вопросы я отвечал совершенно искренне и правдиво. Нет, в Белой армии не служил, ни в каких политических партиях не состоял, родственников за границей не имею. Впоследствии я, правда, узнал, что один из моих дальних родственников был близким соратником маршала Тито, которого советская печать в то время иначе, как кровавой собакой, не называла, но тогда о существовании этого родственника я даже не подозревал. Пожалуй, только в одном случае я сознательно соврал. На вопрос, находился ли кто-нибудь из родственников под судом, я ответил «нет», хотя точно знал, что мой отец провел в сталинских лагерях пять лет. Короче говоря, моя анкета удовлетворила тех, кто ее читал, и Родина доверила мне управление планером, летавшим со скоростью 65 километров в час.

Между прочим, это оказанное мне небольшое доверие потом обернулось большим недоверием. Три года спустя я служил в Польше авиамехаником. Хоть и говорят, курица не птица, Польша не заграница, а все же условия нашего существования в этой стране были немного лучше, чем на родной территории. Денег больше платили, кормили лучше, давали сливочное масло, которого в Советском Союзе солдат даже не видит, и курили мы там не махорку, а папиросы «Беломорканал». И вдруг вызывают меня к командиру полка, и тот говорит: «Слушай, а ты, оказывается, летчик!» — «Да какой там летчик, говорю, на планере я летал». — «Но, значит, планером управлять умешь?» — «Да уж

чем-чем, говорю, а планером управлять умею. Ручку от себя, ручку на себя — дело нехитрое». — «Ну раз ты уже знаешь, как с этой ручкой управляться, поезжай в Советский Союз, будешь учиться на вертолетчика». Собрал я чемодан и поехал в Советский Союз. А приехал в город Кинель Куйбышевской области, увидел, что там таких асов, как я, собралось человек сто, не меньше. Кто из Польши, кто из ГДР, кто из Австрии, в которой тогда тоже наши войска стояли. И там уже я выяснил, что меня не на вертолетчика учить собирались, а просто из-за границы выгнали. Потому что незадолго до этого какой-то авиамеханик на штабном кукурузнике перелетел в Германию из советской зоны в американскую.

Так вот меня моя анкета подвела самым неожиданным образом. С тех пор к этим анкетам я относился с очень большим подозрением. И очень не любил их заполнять.

В конце пятидесятых годов уже после армии работал я в Москве плотником и писал стихи, которые тогда еще никто не печатал. Работа моя меня мало устраивала, мне хотелось быть ближе к искусству. И проходя однажды мимо МХАТа, я увидел объявление, что этому театру требуются рабочие сцены. Ну, вот, решил я, эта работа как раз по мне. Зашел в отдел кадров, меня встречают очень приветливо, я для них просто находка, потому что у рабочего сцены зарплата маленькая, никто не хочет к ним идти. «Ну вот вам анкета, — сказали мне, — вы ее внимательно прочтите, заполните, потом принесите нам, потом вас недели три будут еще проверять, после чего мы вам сообщим, когда выходить на работу». Я очень удивился: почему такая длинная анкета и зачем так долго ее проверять? «Вы сами должны понимать, — сказали мне, — наш театр особый, наши спектакли смотрят иногда руководители партии и правительства, кроме того, мы время от времени выезжаем на гастроли за рубежом».

Я взял анкету с собой и изучил ее дома. В ней было бесчисленное количество вопросов, касавшихся не только меня самого и моих родителей, но бабушек и дедушек и родственников жены, на которые я просто не мог ответить. Я эту анкету выкинул, и мое сотрудничество с прославленным театром не состоялось.

Я думаю, в Советском Союзе нет ни одного человека, который, заполняя анкету, не испытывал бы перед ней страха. Он видит за ней то таинственное лицо, которое будет читать анкету, внимательно сверяя ее с тут же приложенной автобиографией, сопоставляя одни ответы с другими, выискивая, нет ли в них противоречия и ставя после них плюс или минус. Член партии — плюс, беспартийный — минус. Не был на оккупированной сорок лет назад немцами территории — плюс. Есть родственники за границей — минус. Русский — плюс. Еврей — минус.

В короткий период советской истории, когда приоткрылись двери в Израиль, оказалось, что принадлежность к еврейской национальности, да еще при наличии родственников за границей, даст небывалый

шанс навсегда избавиться от этих анкет и от их неприятных вопросов. Но при устройстве на работу в Советском Союзе еврей всегда сталкивается с препятствием, иногда преодолимым, иногда нет. То же можно сказать о крымских татарах или немцах (у последних, впрочем, тоже есть или был шанс уехать). Но представители некоторых малых народностей имеют иногда преимущества перед всеми, включая русских.

Я знаю случай, когда один физик устраивался в престижный научно-исследовательский институт. Директор института, будучи евреем и чувствительным к национальному составу своих кадров (то есть он старался избежать обвинения, что берет на работу слишком много евреев), побеседовав с будущим сотрудником, выяснил его профессиональный уровень и сферу научных интересов, помялся и спросил: «Ну, а как насчет остального?» Поступающий на работу сразу понял вопрос и охотно ответил: «Насчет остального у меня все в порядке, я — нанаец».

Некоторые начальники отделов кадров и руководители учреждений не удовлетворяют национальностью, указанной в паспорте, и хотят знать о каждом из родителей. Один мой знакомый, много лет назад поступая на работу на радио, был принят председателем Государственного комитета по радиовещанию СССР Сергеем Кафтановым. Тот тоже интересовался профессиональной подготовкой и другими данными нового сотрудника, а затем спросил: «А кто ваша мама?» «Мама — гречанка», — быстро ответил мой знакомый. «А папа?» «А папа инженер».

Но, несмотря на то, что все начальники отделов кадров только тем и занимаются, что вчитываются в анкеты, выискивая несоответствия и изъяны в биографии сотрудников того или иного учреждения, иногда самые невероятные нелепости проходят мимо их бдительного ока. Некоторые люди из озорства пишут какую-нибудь чушь, вроде того, что служил в Белой армии в чине генерала. Другие пишут чушь вовсе не из озорства, а из практических соображений. Иногда на этой почве разражаются скандалы. Вдруг оказывается, что какой-то директор института, доктор наук, профессор, на самом деле не осилил в школе и седьмого класса, никогда не защищал никакой диссертации и о руководимой им науке имеет очень приблизительное представление.

Свидетелем одного из таких казусов был и я. В середине шестидесятых годов, будучи членом бюро секции прозы в Союзе писателей, я был приглашен на разбор персонального дела писателя Новбари. Этот Новбари был обвинен какой-то женщиной в присвоении и публикации под своим именем ее пьесы. Разбравшие это дело на первом этапе заглянули в анкету Новбари и прочли его автобиографию. Автобиография была красочной. Он родился в Ираке и четырех лет был продан в рабство. От своего рабовладельца бежал. Затем вступил в коммунистическую партию Турции и через некоторое время стал резидентом советской разведки в Стамбуле. Когда сопоставили данные, указанные в анкете и автобиографии, получилось, что в коммунистическую партию он вступил 9 лет от роду, а резидентом стал в 11. Там еще содержались всяческие

фантастические измышления, которые ничем и никак не подтверждались. Настоящая его биография была гораздо скромнее вымышленной. Он родился не в Ираке, а в Азербайджане, за границей никогда не был. Оказалось, что в Союз писателей он вступил второй раз. Первый раз — в Таджикистане, где был исключен за подобный же плагиат и еще какие-то темные делишки.

И интересно, что в так называемом отделе творческих кадров Союза писателей, где работают сотрудники КГБ высшей квалификации, бумаги Новбари, наполненные абсурднейшим вымыслом, не вызвали никакого подозрения до тех пор, пока не разразился скандал.

Заседание бюро, где разбиралось дело Новбари, происходило, само собой разумеется, при закрытых дверях. Ответчик, пожилой и грузный человек восточного типа, казалось, нисколько не был смущен, а напротив, держался весьма воинственно. С самого начала он сказал, что разбор дела его не интересует, он принес заявление и просит рекомендацию для поездки в Сирию для сбора материалов к книге об освободительной борьбе арабских народов. Ему говорят: «Подождите, сначала мы должны разобраться с фактами вашей биографии. Могло ли это быть, чтобы вы вступили в партию в 9 лет?» На этот и на другие вопросы Новбари отвечал уклончиво: «Кому надо, тот знает». — «Но не могли же вы быть резидентом советской разведки в 11 лет?» — «Кому надо, тот знает». — «Где же вы все-таки родились, в Багдаде или в Баку?» — «Кому надо, тот знает».

К моему удивлению, некоторые другие члены бюро прозаиков, о литературной деятельности которых я не имел ни малейшего представления, тут же обнаружили причастность к тем, на кого туманно ссылался ответчик: «А кто именно знает? Как фамилия? Из какого отдела?» И сами стали называть какие-то фамилии и отделы, демонстрируя в данной области изрядную осведомленность. Но Новбари в отличие от них военную тайну хранил, фамилии и номера отделов не раскрывал, тупо повторяя свое: «Кому надо, тот знает». Да к тому же продолжал настаивать, чтобы ему тут же выдали рекомендацию для поездки в Сирию. По этому вопросу было проведено голосование, все члены бюро, кроме меня, голосовали против поездки, я воздержался, за что сам чуть не получил выговор. (На меня набросились: как и почему я воздерживаюсь? Я ответил, что готов проголосовать за исключение Новбари из Союза писателей за плагиат и ложь, но не считаю себя вправе запрещать ему или разрешать ездить, куда он хочет, тем более я сам невыездной.) На этом первое заседание бюро закончилось. После этого секретарь московского отделения Союза писателей, он же генерал КГБ Виктор Ильин позвал в другую комнату некоторых членов бюро и в том числе почему-то меня (по-моему, он хотел меня привлечь к более активной «общественной» деятельности), и сказал, что в следующий раз мы должны лучше подготовиться к разоблачению Новбари. «Его надо обложить, как волка!» — сказал Ильин, и глаза его хищно блеснули. Потом он пере-

вел взгляд на меня и немного скис: «Но вы, наверное, сбежите?» «Сбегу», — обещал я уверенно, видя, что в стае этих хищников мне делать нечего. Я свое обещание выполнил и не знаю, как дальше расследовалось дело бывшего резидента в Стамбуле. Знаю только, что все кончилось для Новбари благополучно, потому что он оставался в списке членов Союза писателей до самого моего отъезда на Запад в 1980 году. И наверняка состоит в нем и сейчас, если еще жив. Значит, те, на кого он ссылался, действительно знали о каких-то его заслугах и, как волка, обложить его не позволили.

ПРОСТАЯ ТРУЖЕНИЦА

(Из цикла «Рассказы о коммунистах»)

Как-то мы с женой приехали в один южный приморский город. Возле так называемого квартирному бюро на пыльной площади толпился народ. С одной стороны частники, с другой — дикари. Не те дикари, которые ходят в одеждах из перьев, а обыкновенные советские дикари, у которых нет путевок в санатории и которых с их молоткастыми и серпастыми паспортами в гостиницах не пускают и на порог. Мы тоже в этой толпе оказались, и тут же нас атаковали жадные до наживы домо- и квартировладельцы. «Вам нужна комната? На сколько?» Оказалось, что мы не очень выгодные клиенты, потому что приехали только на неделю, а частники предпочитали таких, которые на сезон или хотя бы на месяц. Когда уже все от нас отказались, появился еще один, дохлый пожилой мужичонка с впалой грудью и стальными зубами. Он робко приблизился к нам: «Нужна комната? На сколько? На неделю? Нет, на неделю нельзя». И отошел. Но отошел неуверенно, и я понял, что на него можно давить. Я пошел за ним и спросил: «А может быть, можно и на неделю?» Он посмотрел на меня и обреченно кивнул головой: «Ну, пожалуйста». Потом увидел, что мы на машине, и сказал опять: «Вы на машине? Нет, на машине нельзя». — «А может быть, можно?» И он опять кивнул: «Ну, пожалуйста». Я потом заметил, что он всегда сначала отказывает, а потом говорит: «Ну, пожалуйста». Мы его так Нупожалуйста и прозвали.

Мы спросили, далеко ли ехать. Он сказал, нет, километра два-три.

— Я вам покажу. Я буду впереди бежать, а вы езжайте за мной.

— Ну, почему же вы будете бежать впереди, — сказал я. — садитесь, поедем вместе.

— Да нет, ну зачем я буду садиться, как-то неудобно.

После того, как я ему объяснил, что нам еще более неудобно будет, если он побежит впереди, он сел на переднее сиденье (жена перебралась назад) и съезжился, стараясь занять как можно меньше места.

Оказалось, что Нупожалуйста живет на окраине, на пыльной ухаби-стой улице, по которой после дождя можно проехать разве что на трак-торе. Дом, однако, был большой и добротный. На крыльце стояла жен-щина лет сорока могучего телосложения, в коротком и рваном сарафа-не. И со вкусом, звучно шлепала комаров на загорелых плечах и на ляжках.

— Ты кого это привез? — закричала она, глядя то на мужа, то на нас, будто мы были совсем никчемным товаром.

— Дачников, Егоровна, привез на неделю.

— Дачников? — повторила она. — На неделю? Та шо это за дачники на неделю? Та шо ж там других не було?

— Не было, Егоровна, — испуганно отвечал Нупожалуйста. — Толь-ко эти и были.

— Ну ладно. — Она посмотрела на нас более доброжелатель-но. — Так шо вы люди богатые, на машине, у меня есть для вас зала за десять рублей.

— В неделю? — спросила моя жена.

— Та не, у день.

— Десять рублей — это дорого, — сказал я.

— Та не дорого, — убивая комара на ноге, сказала она.

— И к тому же у вас комары.

— Та яки комары? — сказала она и щелкнула себя по щеке. — Хиба ж это комары?

— А что же это?

— Та так. Насекомые.

Как-то мы все же поладили и вечером на террасе угощали наших хозяев купленным у них же вином. Нупожалуйста в основном молчал, говорила Егоровна.

— Я, Володя, работаю ото ж бригадиром на винограднику. Ото ж така важка, така тяжела работа, Володя. З пяти утра и до самого вечора. Така важка, така трудна работа. Но я люблю важко работать. Когда важ-ко поработаешь, тогда ты собой тоже довольный бываешь.

Дом их, довольно большой, был забит отдыхающими. Мы снимали отдельную комнату. В других комнатах, как в общежитии, койки стояли рядами, каждая стоила два рубля в сутки.

Утром мы проснулись не рано, солнце стояло уже высоко. Я вышел в сад к умывальнику и увидел в глубине сада сарай. Дверь сарая открыта, а внутри сарая на раскладушке ничком, в том же самом рваном, высоко задравшемся сарафане лежит наша хозяйка. Надо же, на работу не по-шла. Видимо, заболела.

После завтрака я опять вышел в сад и увидел: из сарая вышла хозяй-ка, потягиваясь, как штангист перед взятием веса.

— Вы сегодня не на работе, — спросил я. — Заболели?

— Та ни. У мене ж ото сэссия.

— Сессия? — удивился я. — Сельсовета?

— Та ни. Ото ж горсовета. Я там у культурной комиссии состою.

Мы с женой уехали на пляж, потом были в кино, потом в ресторане, вернулись — хозяева уже спали. Утром выхожу в сад, вижу — хозяйка опять спит в сарайчике.

— Опять сессия? — спросил я, когда она вышла.

— Та ни. Ото ж партсобрание.

На третий день у нее было совещание передовиков производства. На четвертый что-то еще. В этом доме по-настоящему трудился только ее беспартийный муж. Утром, пока она спала, он по ее приказу уже бежал, как он говорил, «на шоссу» ловить новых квартирантов. А потом в саду что-то строгал, пилил, окапывал деревья.

Поскольку мы уходили из дома раньше ее, а возвращались позже, я никогда не видел нашу хозяйку в достойном ее положения костюме. Всегда в одном и том же сарафане.

Она была словоохотлива и много раз повторяла, что любит тяжелую работу. Что работала во время войны на Алтае шофером и оттуда привезла своего теперешнего мужа. В партию вступила недавно.

— Мэнэ ж ото парторг наш, Иван Семенович, вызвал. «Ты что ж это, говорит, Егоровна, така хороша работница, а не в партии. Невдобенно все же». Ну я ж ото подумала, Володя, шо як шо мы, передовые труженики, не будем поступать у партию, то тогда хто ж? Тем более шо партия наша, она же руководит народом, она ж мудрая, миролюбивая, так же ж, Володя?

Я ей сказал, что я литератор, и она, выражаясь в партийном духе, видимо, рассчитывала, что я о ней что-нибудь напишу. Впрочем, о ней уже и без меня писали. И в местной газете, и в столичном «Огоньке».

А ее муж Нупожалуйста, беспартийный пенсионер, уязвленный своим ничтожным на фоне жены положением, был у них в семье вроде домашнего диссидента. Молчал, молчал, а потом взрывался.

— Правильная политика, говоришь? Правильная? Никто не спорит, что правильная. А почему ж с китайцами-то поссорились? Член партии, а не знаешь. А потому поссорились, что они нам польты по сорок рублей продавали, а потом в наш магазин заходят и видят: те же самые польты висят по сто двадцать.

— Та ты ничего не понимаешь, — махала она руками и просила меня: — Ты, Володя, этого не записывай, потому шо он же глупый и отста-
лый.

Она мне свои тайны раскрывала постепенно. Накануне нашего отъезда мы опять пили вино на террасе.

— Ото ж стыдно сказать, Володя, но мэнэ ж ото орденом награды-
лы.

— Каким орденом? — я уже не удивлялся, но все-таки подумал, что орденом каким-нибудь маленьким.

— Та ото ж Лэнина. Мэнэ в Краснодаре Полянский принимал,

пальто подавал. Если б, говорит, до того, Егоровна, у тебя б не медаль, а хотя б «Знак Почета», мы б тебе сейчас Героя дали.

Мы прожили в этом доме не неделю, а полторы. В последнее утро мы проснулись от шума. На крыльце галдели человек десять студентов, которых хозяин успел уже притащить с «шоссy» на наше место. Прощаясь с хозяином, я спросил: «А где Егоровна?» «Ушла на виноградник», — сказал он.

Это был ее первый выход на работу за все полторы недели.

Все эти дни мы провели или дома, или на берегу. А тут первый раз ехали через центр города. И в скверике перед зданием горкома увидели шеренгу портретов, над которыми было написано: «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ ГОРОДА».

И на четвертом слева портрете красовалась наша хозяйка. В темном костюме, белой блузке, с орденом Ленина на высокой груди.

ЧЕНЧЕВАТЕЛЬ ИЗ ХЕРСОНА

Или вот такая история. Сидим мы как-то вечером на кухне у нас, в Москве, моя жена, я и еще одна наша приятельница. Известная, между прочим, актриса. Сидим, пьем чай, разговариваем. Актриса нам о телекинезе что-то рассказывает. О людях, которые взглядом могут даже самые тяжелые вещи передвигать. В последнее время в Москве такие увлечения очень в моду вошли: телекинез, спиритические сеансы, телепатическое лечение на расстоянии.

Когда общественной жизни нет, критиковать власти или хотя бы рассказывать анекдоты страшновато, развлечения (театр, кино, телевидение) сплошь пронизаны пропагандой, а в книжных магазинах нет ничего, кроме томов скучных, изложенных нечеловеческим языком речей Генерального секретаря и других членов Политбюро, тогда самое время удариться в мистику. Дело вроде бы не совсем советское, но, в отличие от, допустим, распространения или хотя бы чтения самиздата, безопаснее.

Ну, так сидим, разговариваем, вдруг звонок в дверь. Иду открывать, мысленно по дороге чертыхаясь: кого еще там нелегкая на ночь глядя принесла? Открываю, на пороге стоит незнакомый мне человек в форме торгового моряка. «Здравствуйте, а я к вам!» Оказывается, моряк этот по дороге из Мурманска в Херсон решил в Москве остановиться. А брат его из Херсона раньше со мной в одном классе учился. Нескольким лет назад брат этот у меня уже как-то ночевал, очень ему у нас понравилось, а теперь вот и другой брат подъехал. Надо сказать, что в Москве появление ночного гостя из провинции — явление не такое уж редкое. И объясняется это не столько нахальством или жадностью этих самых провинциалов, сколько совершеннейшей невозможностью попасть простому че-

ловеку в московскую гостиницу. Посмотрел я на этого моряка, посмотрел, не очень мне пускать его на ночь хотелось, но и отказать не сумел: ночь, погода плохая, и все-таки с его братом в одном классе учился.

Короче говоря, ладно, говорю, что же делать, раз уж так получилось, входите, только уж другим своим братьям и товарищам из Херсонского пароходства моего адреса больше не давайте.

Ну, сел он с нами за стол, вынул из портфеля бутылку Посольской водки, в Мурманске, говорит, достал, банку сайры и на актрису, нашу гостью, с восхищением смотрит. Вчера он ее только по телевизору видел, а тут, понимаешь, такое везение. Будет о чем рассказать товарищам и в Мурманске, и в Херсоне. И чтобы не ударить лицом в грязь, моряк тут же принялся рассказывать о всяких своих странствиях по белу свету в качестве механика какого-то сухогруза. И как их застиг туман в проливе Лаперуза, и как качало их у берегов Новой Зеландии, и как они на мель сели где-то у берегов не то Марселя, не то Катани.

И как пошел названиями портов всяких сыпать, так не только мы с женой, а и наша актриса рот раскрыла, ошеломленная. Она хоть и выездная была, но и ее опыт заграничных поездок (один раз Париж, один раз Будапешт, два раза Восточный Берлин и четыре раза София) сейчас ей самой чепухой показался.

А моряк, завладев нашим вниманием, и совсем разошелся. Босфор, говорит, Дарданеллы, Джорджес Банка, такие, знаете ли, названия, ну прямо Жюль Верн.

А форма на нем красивая, нашивки блестят, пуговицы золотые и на руке часы с тройным циферблатом. И он на эти часы довольно часто поглядывает, но не потому, что хочет Посольскую водку скорее допить и спать идти, а потому, что догадывается, что мы раньше таких часов и не видели. И когда он в очередной раз на часы посмотрел, я у него все-таки спросил, где же он такие замечательные часы купил. «Это, говорит, я в Лас Палмас сченчевал». И тут же зажигалку вынул, а на ней девушка нарисована. Прямо держишь зажигалку — девушка в купальнике, перевернешь — она без. «А это, — говорит он уже без моего вопроса, — я сченчевал в Амстердаме». Очень это было нам все интересно, но только слова этого «сченчевать» я прежде никогда не слышивал. И спросил, что оно означает.

— Чейндж! — сказал моряк твердо и поставил рюмку на стол. — Английский в школе учил? Чейндж. Обмен, значит. Мы когда в загранку уходим, покупаем в магазинах все, что есть. Часы, духи, матрешек, мыло, булавки, пуговицы, короче говоря, все, что под руку попадется.

— И неужели на эти наши товары можно что-нибудь выменять?

— Еще как можно! Конечно, где-нибудь в Гамбурге или Ванкувере такой товар не идет. Но мы ж не только туда ездим. Мы и странам третьего мира помогаем. А уж в этих-то странах...

Воспоминание об этих странах почему-то вызвало в нем такой приступ смеха, что он чуть под стол не свалился, но я его вовремя подхва-

тил. Придя в себя, стал он рассказывать, где чего ченчевал. Самые приятные воспоминания были у него связаны с Суэцким каналом.

— Идешь, значит, Суэцким каналом, а на берегу бедуины стоят. Мы всех арабов бедуинами называем. Кричишь ему: «Чейндж!» Он отвечает: «Чейндж!» Ты ему на веревке свой товар опускаешь, он тебе на палке свой поднимает. Тут, знаете, надо быть очень бдительным. Если ты ему раньше свой товар опустил, он его схватил и бежать. Все. Чейндж закончился. Если он раньше поднял, ты схватил, тоже чейнджу конец. Тут надо все с умом делать. А то я помню, везли мы как-то...

И он рассказал историю, как везли они как-то партию газиков-вездеходов, опять же для помощи странам третьего мира. Сначала колеса поспинали, сченчевали. Потом спидометры повытаскивали, сченчевали. Фары пооткручивали, сченчевали.

— А как же, — спрашиваю, — те, кому вы везли газики, они вам претензии не предъявляли?

— Да вы что? Да какие претензии? Это же помощь. Это же бескорыстно, чего дают, то бери. Да газики — это что! Мы и с судна всякие вещи ченчуем. Снимешь спасательный круг — чейндж! Прибор какой-нибудь отвернешь — чейндж! А однажды ничего под рукой не оказалось, так и якорь латунный пришлось сченчевать. Думаете, просто было? Его целиком не выкинешь, бедуинам поднять его нечем, он же тяжелый. Так мы его сначала в каюту втащили и там на куски пилили — ножовку смазывали, чтоб не пицала. А потом куски в иллюмина-тор кидали. А бедуины в аквалангах за ними ныряли.

И рассказывал так до поздней ночи, где был и что на что ченчевал, и нас уморил, да и сам притомился. Стал зевать и на часы поглядывать, но уже не с тем, чтобы видом их поразить, а намекая, что пора и в постель. Но когда я спросил его, не член ли он партии, он опять встрепетнулся, плечи расправил, щеки надул и сказал с достоинством:

— Да-а, коммунист.

КАК ИСКРИВИТЬ ЛИНИЮ ПАРТИИ?

Ленин когда-то сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь. Рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но в основном занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он

не принадлежит. Высшая каста — это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки.

Когда я учился в 10-м классе вечерней школы в Крыму, мне было 23 года, то есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было сорок шесть лет, мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме: длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. (Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе.)

У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос — молчит. Задают вопрос наводящий — молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает: «Может быть, вы не выучили?» Молчит. А если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией, а на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил: «В Азии».

Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что ни за что его не выпустит. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда, все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили: «Садитесь, Еременко». И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили: «Ну хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь».

Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние и плохие. Но ученики такой степени тупости до десятого класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до четвертого, ну, до седьмого, а потом или его как-то выпихивают из школы, или сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко, будь он простой ученик, до десятого класса никак бы не добрался, но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный: заведовал отделом в райкоме КПСС, и для продвижения по службе ему нужно было по крайней мере среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла.

Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе, и тогда он был со мной вполне откровен-

нен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке: «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке «смирно», и он будет стоять хоть два часа».

Как-то я спросил его, не трудно ли ему работать на столь важной должности. Ответ его я запомнил на всю жизнь: «Да нет, не трудно. В нашей работе главное — не искривить линию партии. А как ее искривить?»

Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории (она была моложе меня) ушла в декрет, а ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко.

Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет знала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих.

Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме:

— Скажите, товарищ Еременко, когда произошел пятнадцатый съезд партии?

Молчание.

— В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году. Правильно?

— Правильно, — отвечал Еременко. — В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году.

— Ну что ж, — заключала учительница, — вы подготовились отлично, я ставлю вам пять.

С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался.

— Уж что-что, а историю я знаю, — говорил он мне.

Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом две огромные свиньи по рублю пятьдесят штука на старые деньги. То есть по пятнадцать копеек на нынешние.

В конце концов Еременко школу окончил и получил аттестат, в котором у него была пятерка по истории и выведенные с большой натяжкой тройки по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего, уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью. Всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической.

ДВС

Конечно, главные принципы в нашей советской жизни — это свобода, равенство и братство. Это каждому известно. А если кто забудет, — может выйти на улицу и сразу обязательно вспомнит, потому что сейчас же где-нибудь неподалеку такое будет написано большими буквами: СВОБОДА, например, или РАВЕНСТВО, или БРАТСТВО. Так что даже если хочешь забыть, то тебе об этом напомнят.

А все-таки случаются еще иногда в нашей повседневной жизни отдельные случаи проявления неравенства, что вызывает, конечно, нарекания со стороны трудящихся масс. Некоторые даже проявляют недовольство, брюзжат, создавая вокруг себя нездоровые настроения. Почему, мол, одному то-то и то-то, а другому ни того, ни того-то. Но при этом не понимают, что у нас еще полного коммунизма нет, а есть только социализм. А при социализме, как известно, никакой уравниловки нет и быть не должно. От каждого по способности, каждому по чину. Это еще Маркс сказал. Или Ленин. А может, я и сам так придумал, я уже точно сейчас не помню. Во всяком случае, я вам так скажу, что привилегии — это дело хорошее. Конечно, для тех, у кого они есть. Но тоже я бы сказал — дело хорошее, но не всегда. На почве разницы в этих привилегиях иногда такие неприятности случаются, что иной раз задумаешься, может, этих привилегий лучше и совсем не иметь.

Ну вот хотя бы такой случай.

Один большой, очень большой писатель из одной не очень большой азиатской или, может, кавказской даже республики приехал однажды в Москву по делам. Само собой, привез подарки всякие своим московским собратьям по перу и всему другому. Собратья его — люди важные. Один — секретарь Союза писателей, другой — главный редактор журнала, третий — директор издательства, четвертый — в комитете по Ленинским премиям шийка. И каждому же надо привезти сувенир какой-нибудь, что-нибудь такое из местных народных промыслов, какой-нибудь, скажем, ковер или блюдо серебряное, или еще что-нибудь недорогое,

рублей, скажем так, за пятьсот — семьсот. Ну, само собой, всякие сладости восточные, кишмиш, дыни, чурчхелу или что-нибудь подобное. Коньяку ящик тоже привез. Поскольку он был действительно большой писатель и даже чуть ли не основоположник своей национальной литературы, то поселился он, как всегда, в гостинице «Москва», куда, между прочим, кого попало не пустят. Ну, как он там с братьями со своими встречался, кого сам посещал, кто к нему в гостиницу приходил, сейчас подробно описывать не буду. Скажу только, что много было выпито и много закушено, много было тостов всяких произнесено. И за дружбу народов, и за расцвет нашей многонациональной литературы, и за дорогого гостя, и за дорогих хозяев, так что того ящика коньяку, который он с собой привез, даже и не хватило, пришлось второй закупать уже здесь, на месте. И к тому времени, когда уже и второй ящик к концу подходил, до того наш герой допился и до того докушался, что однажды ночью стало ему нехорошо. Проснулся писатель среди ночи, чует в груди: бубух, бубух. А потом что-то ка-ак саданет, будто сердце шампуром, как барана, проткнули. И чувствует писатель, что вроде он как-то бледнеет и как-то вроде слабеет, помирает, короче.

А был приезжий этот писатель хоть и большой, да глупый. И с такими людьми в Москве общаясь, многого еще в столичной жизни не освоил. Лежит он себе на кровати, одной рукой за сердце хватается, другой телефон к себе придвигает и дрожащим пальцем набирает 03.

Ну, это, как известно, наша «скорая помощь», самая скорая в мире. Не успел писатель концы отдать, а она уже тут как тут.

Открывается дверь, врывается в номер доктор с чемоданчиком, врывается санитар с ящиком, которым кардиограмму пишут, врывается другой санитар — с носилками: две палки, а между ними парусина. И коридорная испуганно в дверь тоже заглядывает. Доктор, понятно, спросил, на что больной жалуется, а тот даже не жалуется, только мычит и пальцем себя в левую сторону тычет. Доктор времени терять не стал, кардиограмму сделал, давление смерил, пульс посчитал.

— Ну что? — спрашивает больной еле слышно и при этом волнуясь, конечно.

— А ничего, — говорит доктор. — Ничего определенного пока сказать не могу, но думаю, что у вас такой это небольшой обширный инфаркт. А больше совсем ничего.

Больной, слыша такие слова, глаза закатил и лежит, не дышит. Сердце дергается, больно, ноги холодеют, язык пересох, писатель волнуется, а волноваться ему как раз и нельзя.

— Да вы ничего, — говорит доктор, — вы, аксакал, не волнуйтесь, мы вас доставим в больницу, а для начала укольчик.

Достает из чемоданчика шприц со здоровенной иглой, и иглу эту куда надо, то есть в мышцу, засаживает. А затем переваливает нашего писателя с дивана на носилки, дает знак санитарам, те носилки подхватывают и волокут их к дверям. А в это время двери эти распахиваются,

и в номер врывается дежурный администратор и за ним опять коридорная. Как увидел администратор санитаров и доктора, встал перед ними, руки раскинув в стороны. «Кто,— говорит,— вы такие и куда его тащите?» Доктор вежливо объясняет, что они — «скорая помощь», а тащат они больного вниз к машине для доставки к месту лечения.

Администратор говорит: я его выпустить не могу, ставь носилки обратно на пол. Доктор объясняет, что на пол носилки поставить не может, потому что больной срочно нуждается в помощи.

Администратор говорит: нуждается не нуждается, не вашего ума дело, а я товарища выпустить не могу, поскольку он — ДВС.

— Дэвэ кто? — переспрашивает доктор.

— Дэвээс,— повторяет администратор и объясняет доктору, который не понял, что ДВС — это значит депутат Верховного Совета.

Доктор говорит, я не знаю, ДВС он или ДОСААФ, меня это не касается, для меня все люди равны, и ссылается на клятву Гиппократова, которую он, между прочим, не давал, потому что у наших врачей есть своя клятва, советская.

Администратору, само собой, на Гиппократова этого с высокого дерева наплевать и на его эту клятву тоже.

Врач в конце концов сдается и звонит в центральную, сообщает, что администрация гостиницы препятствует исполнению врачебного долга. Центральная сначала думает, а потом говорит, черт с ним, с этим администратором, если больного не отдаст, пусть даст расписку, что за возможные фатальные последствия он берет ответственность на себя. Администратор расписки не дает, больного не выпускает и сам звонит по какому-то номеру.

— Пришлите,— говорит,— карету специальной «скорой помощи», у меня тут ДВС погибает.

Время идет, больной лежит, администратор сидит, врач стоит, коридорная смотрит в окно, санитары вышли в коридор покурить.

Часу не прошло, врывается еще один врач, кремлевский, с медсестрой и четырьмя санитарями. Носилки, между прочим, уже не брезентовые, а кожаные.

Попештался кремлевский врач с приехавшим ранее, выяснил, какие меры были приняты, вкатил еще один шприц больному и приказал санитарам перевалить его с парусины на кожу.

Администратор помятел, выдал ранее приехавшему справку, что в его помощи никакой необходимости нет, и тот со своими санитарями и носилками отправился к лифту.

А вновь приехавший врач придвинул к себе телефон и звонит в свою центральную, в какой из филиалов кремлевской больницы доставить больного.

Те спрашивают, а как его фамилия. Врач спрашивает у администратора, администратор отвечает врачу, тот отвечает центральной. Потом небольшое молчание, потом врач говорит: «Понятно», — потом поднимает

ется и администратору холодно так говорит: «Что вы глупости,— говорит,— городите, что вы панику поднимаете и занятых людей в заблуждение вводите, когда больной ваш вовсе не ДВС, в списках ДВС его фамилии нету».

Администратор слегка бледнеет, смотрит вопросительно на больного, тот слегка очухивается и говорит слабым голосом: «Давай сыр!»

Кремлевский врач слегка рассердился, какой, говорит, тебе сыр, когда тебе о Боге пора подумать. И говорит администратору: «Где там этот ваш врач для простых людей, пусть он этого больного теперь себе берет, а нам с ним возиться некогда».

Администратор посылает коридорную за простым врачом, та вниз по лестнице летит быстрее скоростного лифта. Перехватывает доктора на самом выходе, загораживает дорогу. «Вертайтесь,— говорит,— обратно, поскольку больной оказался не ДВС». Доктор отказывается, потому что ему это дело надоело, справка от администратора у него есть, а клятву Гиппократа он не давал.

Но коридорная подзывает швейцара, и вдвоем они доктора кое-как уговаривают, обещая ему и санитарам по полкило охотничьих сосисок из ночного буфета.

Доктор и санитары возвращаются в номер и опять перекладывают больного с кожи на парусину. А тот уже совсем плох, глаза закачены, щеки серые, губы синие, изо рта пена идет коричневатая, коньяком пахнет. Больной сучит ногами и хрипит, и слова все те же выхрипывает: «Давай сыр! Давай сыр!»

— Что это он говорит?— спрашивает обыкновенный врач необыкновенного.— Какой еще сыр? При чем тут сыр?

— Восточный человек,— говорит врач необыкновенный.— Привык есть сыр. Без сыра и помирать не желает.

— Пойдите,— говорит администратор обоим врачам,— он, может быть, не про сыр говорит, а про что-то другое. Наклоняется к больному и спрашивает его как-то непонятно: «Дэвэсээр?»

— Дывысыр, дывысыр,— хрипит больной, соглашаясь.

— Ну вот видите,— говорит администратор кремлевскому доктору.— Я же вам говорил. Он депутат Верховного Совета республики. Не ДВС, а ДВСР. Кладите его обратно.— И сам хватает больного за ноги, чтобы перетащить с парусиновых носилок на кожаные.

— Стоп! Стоп! Стоп!— говорит кремлевский доктор, отрывая администратора от больного.— Мы перевозим только депутатов Верховного Совета СССР, а для давайсыров другая скорая есть.

В это время обыкновенный доктор кивнул своим санитарам, и они вместе с парусиновыми носилками и с ящиком, которым кардиограммы делают, не дождавшись обещанных ночных сосисок, сбегает.

А больной уже и вовсе глаза закрыл, не хрипит и не дергается. Дергается администратор, понимая, что больной — депутат хоть и не СССР, а республики, а и за него отвечать придется. И требует администратор

от кремлевского доктора, чтобы тот вез больного куда хочет, лишь бы из гостиницы. А доктор, поупивавшись, звонит снова в свою центральную и говорит: так и так. А те сначала с кем-то связались, с каким-то ночным начальником этот вопрос согласовали, проявили гуманность и говорят: хорошо, в порядке исключения разрешаем использовать перевозку для дэвэсээр.

Так что в конце концов писателя вытащили наружу и повезли в Кунцево. Если бы был он ДВС, может, его успели бы довести. Если бы был простой человек — тем более. А он был ни то, ни се. Так что привилегии дело, конечно, хорошее, но иногда лучше без них.

ОТКРЫТИЕ

Один известный советский астроном рассказал мне такую историю. В конце сороковых — начале пятидесятих годов работал он в одном научно-исследовательском институте, вел какие-то наблюдения, смотрел в телескоп на сверхновые звезды и никак не мог понять, отчего они возникают. Может быть, я неправильно излагаю проблему, может быть, астрономы меня даже поднимут на смех. Но, во-первых, я надеюсь, что большинство моих читателей в астрономии понимают не больше меня, а во-вторых, суть не в проблеме, а в том, что этот ученый смотрел в телескоп на эти звезды и не мог в их поведении понять чего-то существенного.

Иногда его отрывал от телескопа его коллега из соседней лаборатории. Он приходил к нашему астроному и рассказывал на ухо о неприятностях, которые происходят с представителями других наук, генетики и кибернетики. После того, как эти науки были объявлены буржуазными лженауками, генетиков и кибернетиков травили в печати и на собраниях, увольняли с работы, а особо злостных просто сажали.

Астроном выслушивал эти новости, и, хотя они были ему весьма неприятны, он думал: «Слава Богу, что я не генетик и не кибернетик, а занимаюсь астрономией, которую со времен Галилея никто не рисковал и уже вряд ли рискнет назвать лженаукой».

И он опять прилипал к телескопу и опять смотрел на звезды, записывал в тетрадь свои наблюдения, но чего-то главного все же понять не мог.

И опять приходил коллега из соседней лаборатории, и опять рассказывал о кампании против безродных космополитов, большинство которых оказалось евреями, а потом об аресте врачей-убийц, которые, как сообщалось, состояли в международной еврейской буржуазной организации «Джойнт» и по ее заданию собирались уничтожить некоторых советских вождей, включая самого Сталина.

Конечно, все эти новости, которые астроном узнавал не только от коллеги, но слышал по радио и вычитывал в газетах, были ему неприят-

ны. Но все же он думал, что, может быть, происходящее его не касается, потому что он лично занимается только своей астрономией и ничем больше, он не еврей и ни в каких буржуазных организациях не состоит. Его самого пока что никто не трогал, он ходил на работу, получал приличную для молодого ученого зарплату, смотрел на звезды, думал о них, но чего-то главного додумать все же не мог.

Впрочем, и на Земле происходило что-то не очень понятное. Вдруг в марте 53-го года умер бессмертный Сталин, хотя врачи-убийцы были к тому времени уже обезврежены.

И как только это случилось, вдруг стало теплеть буквально и фигурально.

В одно прекрасное весеннее утро, как раз через месяц после смерти Сталина, собрался ученый идти на работу. Вышел из дому, идет, через лужи переступая, к трамваю, видит — на заборе газета «Правда» висит.

Смотрит он на эту газету и глазам своим не верит: что это — орган КПСС или еврейской буржуазной организации «Джойнт»? В газете написано, что обвинения против врачей были ложными, а показания арестованных полученных путем примснения зверских приемов следствия, строжайше советскими законами запрещенных.

Все это ученый прочел сначала в очках, а потом очки снял, лицо к газете приблизил и опять прочел.

И вдруг он почувствовал: словно камень с души свалился. И сразу он осознал, что все происходившее с генетиками, кибернетиками, космополитами и врачами-убийцами имело к нему самое непосредственное отношение, хотя он не был ни генетиком, ни кибернетиком, ни евреем, ни космополитом, ни врачом-убийцей.

Тут как раз подошел трамвай, но давиться в нем ученому не захотелось, и он пошел на работу пешком. А была весна, текли лужи, светило солнце и затмевало все звезды, старые, новые и сверхновые. Он стал думать об этих звездах, и вдруг его осенило или, как говорят в народе, вдруг что-то стукнуло в голову, и он сразу понял то, до чего столько лет не мог додуматься: что это за звезды, почему они возникают и почему так странно себя ведут. То есть совершил крупнейшее в своей науке открытие. Может быть, суть открытия я пересказываю неточно, потому что я в этом ничего не понимаю, но люди, которые понимают, оценили его высоко.

За это открытие наш астроном был принят в Академию наук СССР и во многие иностранные академии и даже получил много денег, но дел не в них.

Эта действительно происшедшая в жизни история произвела на меня большое впечатление. Я обсуждал ее со многими другими учеными, и все они со мной согласились, что общественный подъем самым непосредственным и благотворным образом сказывается на любой, даже очень, казалось бы, оторванной от реальной жизни науке.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВАЛЮТА

Прощание длилось несколько дней, и меня все эти дни не оставляло ощущение, что я присутствую на собственных похоронах. Приходили друзья, знакомые, малознакомые и совсем незнакомые люди. Из последней категории мне запомнились два молодых человека террористического вида. Они не хотели говорить вслух из-за предполагаемых микрофонов и подали мне записку, в которой сообщали, что их подпольной организации необходимо срочно послать своего человека на Запад, и они просят меня найти этому человеку невесту иностранного происхождения. Не знаю, воображали ли они себя действительно подпольщиками, были ли своеобразными брачными аферистами, желавшими таким путем выехать за границу, или это была одна из последних провокаций КГБ. Кто бы они ни были, я им помочь никак не мог, так как свободной иностранной невесты у меня в то время под рукой не было, о чем я им и сообщил, и они ушли очень разочарованные и, кажется, мне не поверив.

Доступ к телу был открыт, и поток посетителей начинался с раннего утра и кончался далеко за полночь. Утренние посетители приходили поодиночке или небольшими группами, вели себя тихо, сидели со скорбными лицами и разговаривали вполголоса, как и полагается в присутствии усопшего. Но ближе к вечеру поток усиливался, все чаще хлопала за стеной дверь лифта, все чаще раздавался звонок в дверях квартиры, и в конце концов народу набивалось столько, что было трудно протолкнуться. Вечерние посетители тоже приходили со скорбными лицами, но толкотня, многолюдность и водка делали свое дело, и пришедшие начинали шуметь, как обычно бывает с гостями, развеселившимися на поминках.

Однако все это прошло. Прошел поток посетителей, прошел прощальный вечер, устроенный Беллой Ахмадулиной и Борей Месерером в его огромной мастерской на Арбате, и наступил последний день.

В седьмом часу утра, измученные бесконечными прощаниями и последней бессонной ночью, Ира, Оля и я спустились вниз, в темноту московского декабрьского утра, к толпе, нас ожидавшей, как ожидают на похоронах выноса тела. Толпа, как и полагается в таких случаях, состояла из людей близких и неблизких, из тех, с кем виделись почти каждый день, и тех, кто не появлялся, может быть, несколько лет, а теперь вот пришел проститься.

Пришли мои старшие дети Марина и Паша. Пришли близкие друзья. Приехали родственники из провинции. Высыпали во двор полуодетые соседи. Были среди прочих повзрослевшие Ирины ученики.

Почему-то в памяти осталось, как из темноты выделился и приблизился актер «Современника» В. Семь лет назад, когда меня исключили

из Союза писателей, он позвонил и сказал, что непременно придет в самое ближайшее время, но не пришел (да и не обязан был, наше знакомство было шапочное), а теперь вот появился, и мы обнялись торопливо.

Но для объятий времени уже не оставалось, захлопали дверцы машин, и наш странный кортеж, состоящий из «Жигулей» и машин иностранных марок, понесся в аэропорт Шереметьево.

Заключился период странного и противоестественного противостояния еще одного человека государству, которое вело эту борьбу, не жалея ни сил, ни времени, ни зарплат вовлеченным в борьбу сотрудникам секретных служб.

И наступил последний акт. Наши небогатые пожитки (мы взяли с собой всего четыре чемодана, один из них с дочкиными игрушками) проверяла целая бригада таможенников. Проверяли каждую вещь, каждый ботинок, каждую Олину куклу вставляли в рентгеновский аппарат. Ничего они не искали, кроме, может быть, повода подвергнуть нас последнему унижению. Но все пропускали. Заинтересовались медалью Баварской академии изящных искусств, по приглашению которой я уезжал сейчас в Мюнхен. Потом подумали, посоветовались с кем-то, пропустили. Я держался индифферентно. Мне было на самом деле все равно. Досмотр подходил уже к концу, и два наших чемодана уже поехали куда-то вниз по наклонному транспортеру, когда меня вдруг подозревали и попросили расписаться в каком-то бланке. Я спросил, в чем я должен расписаться.

— В том, что ваша рукопись конфискована.

Я удивился: какая рукопись? Мне показали пачку выцветшей и пожелтевшей бумаги. Это была глава, не вошедшая в одну из моих задолго до того опубликованных книг и которую я наверняка уже давно каким-то другим способом отправил за рубеж. Но, наверное, я не был тогда в самом спокойном состоянии, потому что тут же швырнул им их бланк назад, а язык уже произнес необдуманные слова:

— Хорошо, в таком случае я возвращаюсь домой.

Я выхватил у рабочего третий чемодан, который он волок к транспортеру, и подошел к перегородке, отделявшей нас от провожавших. Какой-то тип в штатском распротер руки.

— Стойте, подождите!

Я поставил чемодан и подошел к старшему таможеннику.

— И не стыдно позориться на глазах у всех людей? Из-за каких-то бумажек. Неужели вы думаете, что я доверил бы вам действительно что-нибудь ценное?

И вдруг, что это? Я не поверил своим глазам и ушам. Таможенник покраснел, опустил глаза и четко, почти по слогам произнес:

— Ваши отношения с таможенной закончены. У таможи к вам нет никаких претензий.

Я растерялся. Я-то думал, что все они здесь кагебешники, кто в форме таможенника, кто просто в штатском. А оказывается, ему стыдно. Он не хочет, чтобы я считал его одним из них. Я отошел. Какой-то

кагебешник в плаще побежал в дальний угол с карманным приемником-передатчиком и принялся быстро и возбужденно в него что-то бормотать. С кем он связывался? С Лубянкой? Воскресенье, раннее утро...

Жена сказала другому кагебешнику, который стоял рядом:

— И что вы суетитесь? Вы же все равно эти бумаги отдадите.

— А вот и не отдадим, ни за что не отдадим, — сказал тот злорадно. Приблизился тот, который бегал с передатчиком. Я встал у него на пути.

— И что ты бегаешь с этой штукой? Что ты там бормочешь? И не стыдно?

— А я ни при чем! — закричал он нервно.

— Врешь, — сказал я, — уж ты-то при чем. Это он, — я показал на таможенника, — может быть, еще ни при чем. А ты-то как раз при чем.

— Я ни при чем, — еще раз повторил он и кинулся от меня бежать.

Мне показалось, что и ему стало как-то неловко.

Это подействовало на меня отрезвляюще, и я успокоился. И стал думать, зачем я устроил этот скандал. Тем временем два первых наших чемодана появились из подземелья. Подошел рабочий и, как мне показалось, злорадно сказал, что двигатели запущены и самолет отправляется. Из толпы провожающих, молчаливо наблюдавшей эту последнюю сцену, раздался голос одного из друзей:

— Володя, что ты делаешь? Другого шанса не будет.

Я и сам знал, что не будет. Я уже жалел о том, что случилось. Случившееся даже отчасти противоречило моим правилам. Правил у меня вообще-то немного, но одно из них твердое и продуманное. Я стараюсь не говорить, что я что-то сделаю или что-то не сделаю, если я не уверен, что поступлю именно так, как говорю. И второе правило прямо вытекает из первого. Если я сказал, что я сделаю то-то и то-то, я должен это сделать. А уж в данном случае тем более. Раз я сказал, что я без рукописи не уеду, значит, я свое слово должен держать. А слово-то глупое, но ничего не поделаешь. Сейчас, задним числом, я думаю, что у кагебешников даже и шанса не было не сдать. Вопрос о моем отъезде был решен на каких-то верхах, им недоступных. И нарушить решение верхов им было не под силу. Но тогда я этого точно не знал и, правду сказать, чувствовал, что из-за ерунды подвергаю себя большому риску. Но деваться было некуда.

Им тоже деваться было некуда, и рукопись мне вернули. Если сказать честно, при этом я испытал некоторое злорадство. Они меня хотели унижить, а унизил их я. Но я еще не знал, что меня ждет следующее испытание.

Только мы скрылись с глаз провожавших нас друзей и иностранных корреспондентов, как в каком-то коридорчике нам опять преградили дорогу таможенники и милиция. Оказывается, кроме общего обыска, нам предлагают пройти еще личный обыск. Женщина-таможенница завела в кабинку мою жену и дочь и тут же выпустила их обратно. Настала моя очередь. Мы вошли в кабинку втроем. Толстый таможенник с большой

звездой в петлице, капитан милиции, в отличие от таможенника худой, с коричневым дубленным лицом, и я.

— Выньте все из карманов! — приказал таможенник.

Я решил подчиниться.

Я вынул из карманов все, что в них было. Паспорт, какие-то деньги, которые я не пытался утаить, просто забыл о них на первом досмотре. Но таможенника мои деньги нисколько не заинтересовали. Потому что перед ним была поставлена цель не уличить меня в валютных операциях, а унижить. Я это понял. Но я знал, что унижить меня он не может, потому что я к нему отношусь, примерно, как к корове. Я знал, что могу сопротивляться, и, возможно, даже без особого риска, но я мог и полностью подчиниться, ничуть не чувствуя себя оскорбленным. Я так и решил: подчиниться. Он приказал мне снять сапог, я снял. Он, сидя на корточках, сунул руку внутрь и что-то там шарил. И вдруг я увидел, что передо мной не какой-то там грозный страж чего-то, а немолодой человек, толстый и страдающий одышкой.

— Слушай, — сказал я ему нарочно на «ты», — а что ты там ищешь? Бомбу?

— Нет, — сказал он хмуро, — не бомбу.

— А что? Совесть свою?

— Снимите второй сапог, — сказал он и протянул руку.

Я снял сапог и швырнул мимо его руки на пол. И приказным тоном сказал: «Подними!» Он поднял и туда сунул руку. И тогда я, уже сильно разозлившись и даже уже готовый опять отказаться от полета (хотя это было бы все-таки глупо), сказал:

— И не стыдно тебе меня обыскивать? Ты же знаешь, что я не преступник, а писатель.

— А я ваших книг не читал, — сказал он, как мне показалось, агрессивно.

— И стыдно, что не читал, — сказал я. — И вообще, посмотри на себя. Что ты тут ползаешь по полу? Ты же потерял человеческий облик. Я бы на твоём месте лучше застрелился, чем делал эту работу. Что тебе еще от меня нужно?

И вдруг он закричал: «Ничего! Ничего!» — и выскочил из кабинки.

Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, но потом понял, что он просто сбежал. Потому что ему стало стыдно.

Я стал надевать сапоги и вдруг встретился взглядом со стоящим надо мной милиционером, который смотрел как-то странно, не понимая, что происходит.

— А куда он ушел? — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне заискивающе, как к начальнику.

— А я не знаю. Наверное, пошел стреляться. Пойди и ты застрелись.

Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил:

— А вы надолго уезжаете?

— Не надолго,— сказал я.— Я скоро вернусь.

Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикнул какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась. Ей тоже было стыдно.

Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет. Только мы вошли, дверь закрылась и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту, и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки: пиво, водку, коньяк, виски, джин... Я взял чекушку водки и спросил, сколько стоит. Она мне сказала: в долларах столько-то, в западногерманских марках столько-то.

— А в рублях? — спросил я.

— Отечественную валюту не принимаем,— сказала она и покраснела.

Вот говорят: стыд не дым, глаза не ест. А я думаю, что все-таки ест. И покада в людях еще существует чувство стыда, они живы, они еще люди. И, значит, еще не все потеряно.

ВЫСТРЕЛ В СПИНУ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Как сказано выше, я когда-то писал стихи. Начал писать их во время последнего года службы в армии и писал лет пять после того, пока постепенно не перешел на прозу.

После публикации в шестьдесят первом году моей первой повести «Мы здесь живем» я, по выражению одного поэта, стал широко известен в узких кругах. Но некоторые мои стихи были известны гораздо шире. Я имею в виду стихи, которые были положены на музыку и стали песнями. Одну из этих песен — «14 минут до старта» (музыка Оскара Фельцмана) — знали все советские люди от младенческого до преклонного возраста. Ее пели по радио, телевидению, в театрах, ресторанах и даже, как известно, в космосе. А после того, как в 1962 году во время встречи космонавтов Николаева и Поповича припев этой песни с трибуны Мавзолея пропел или, вернее, провыл сам Хрущев, многие редакции газет и журналов стали обращаться ко мне с просьбой дать им мои стихи. Я сам к стихам своим в то время остыл, печатать их не хотел, но газете «Московский комсомолец» дал два старых стихотворения.

Раньше, когда мне это было очень нужно, их не печатали. Теперь, когда мне это было нужно не очень, их охотно напечатали.

И разразился скандал. Стихи попали на глаза... даже и сейчас страшно сказать... министру обороны СССР, Маршалу Советского Союза, лично товарищу Малиновскому, который, по слухам, сам пописывал немножко стихи. То ли в душе его разыграла ревность поэта к поэту, то ли еще чего, но он взбеленился, надел штаны с лампасами, сел в «чайку» или бронетранспортер, не знаю уж, во что именно, поехал в Главное по-

литическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота и всем заседавшим там маршалам и адмиралам прочел мои стихи с выражением. После чего высказался весьма зловеще:

— Эти стихи, — сказал он, — стреляют в спину Советской Армии.

Надо же! Я и сейчас, когда вспоминаю, думаю, неужели у министра обороны Советского Союза не было более важного дела, как выискивать в какой-то захудалой газетенке стишки (хорошие или плохие — неважно) и разбирать их на заседании маршалов и адмиралов?

Министр не успел сказать, в «Красной звезде» появилась реплика. Газета возмущалась, как могла другая газета напечатать такую пошлость. И в качестве примера привела последнюю строфу, которая как раз, видимо, больше всего и стреляла в спину Советской Армии. То есть сама «Красная звезда», которую читает вся Советская Армия, выстрелила этими стихами второй раз, уже покрепче.

Ну, а после выступления такой важной газеты бывает что? Конечно, оргвыводы. В «Московском комсомольце» кое-кому дали по шапке. Кого уволили, кому выговор по партийной, кому по служебной линии.

А мне что? А мне ничего. Мое дело написать и по возможности напечатать. А за партийную линию я ответственности не несу, я беспартийный.

Несколько месяцев спустя призвали меня в армию на два месяца, чтобы сделать из бывшего солдата офицера, не знаю, зачем им нужен был такой офицер. Поехал я в прославленный Дальневосточный военный округ, которым наш поэт (я имею в виду товарища Малиновского) до того, как стать министром, командовал. Ну, служба была — не бей лежачего. Ездил я по воинским частям, читал солдатам свои старые стихи. И получал даже за это деньги. Рублей семь за вечер.

Надо сказать, командование частей к выступлениям готовилось хорошо. Как же, писатель из Москвы приехал, это у них там нечасто случалось. В гарнизонный клуб набивалось солдат, ну так, примерно дивизия. А на сцене трибуна, стол, покрытый красной материей, и графин с водой для докладчика. На трибуне я, за столом замполит, полковник, иногда подполковник.

Говорил я примерно так.

— Я, товарищи солдаты, вообще-то говоря прозаик. Но читать прозу не буду, боюсь, вам покажется скучно. Я вам лучше почитаю свои стихи. Я еще сравнительно недавно был таким же, как вы, солдатом и о своей службе написал стихи. Стихам моим повезло больше, чем моей прозе. Одно из них, которое стало песней, пропел с трибуны Мавзолея Никита Сергеевич Хрущев, а другое отметил в своем выступлении ваш главный начальник, министр обороны Маршал Советского Союза товарищ Малиновский.

Как отметил, я, конечно, не говорил.

После такого выступления в зале устанавливалась полная тишина, солдаты открывали рты, а замполит приосанивался, вот, мол, какую птицу удалось ему заманить в этот отдаленный гарнизон.

Я читал стихи разные, но последними, на закуску, как раз те, которые маршал отметил.

В сельском клубе разгорались танцы.
Требовал у входа сторож-дед
Корешки бухгалтерских квитанций
С карандашной надписью «билет».
Не остыв от бешеной кадрили,
Танцевали, утирая пот,
Офицеры нашей эскадрильи
С девушками местными фокстрот.

В клубе поднимались клубы пыли,
Оседая на сырой стене...
Иногда солдаты приходили
И стояли молча в стороне.

На плечах погоны цвета неба...
Но на приглашения солдат
Говорили девушки: «Не треба.
Бачь, який охочий до дивчат».

Был закон взаимных отношений
В клубе до предела прям и прост:
Относились девушки с презрением
К небесам, которые без звезд.

Ночь, пройдя по всем окрестным селам,
Припадала к потному окну.
Видевшая виды радиола
Выла, как собака, на луну.

После танцев лампочки гасились...
Девичьих ладоней не пожав,
Рядовые молча торопились
На поверку, словно на пожар.

Шли с несостоявшихся свиданий,
Зная, что воздастся им сполна,
Что применит к ним за опоздание
Уставные нормы старшина.

Над селом притихшим ночь стояла...
Ничего не зная про устав,
Целовали девушки устало
У плетней женатый комсостав.

Строгие ревнители поэзии найдут (и справедливо) в этом стихотворении массу недостатков. Но солдатам оно нравилось. Солдаты били в ладоши, стучали сапогами в пол и даже кричали «бис». А замполит, которому стихотворение чем-то не нравилось, тоже хлопал, да и как ему было не хлопать, если сам маршал Малиновский отметил. А я, признаюсь, каждый раз удивлялся: неужели никто из этих замполитов, не говоря уже о прочих военнослужащих, не читает «Красную звезду»?

Один осведомленный все же нашелся. Но это было уже в самом конце моей двухмесячной службы. Он тоже сначала хлопал, потом перестал, потом посмотрел на меня с испугом и не очень уверенно сказал:

— Мне кажется, я эти стихи где-то читал.

— Это возможно,— сказал я,— они же опубликованы.

— Да, да,— сказал он и написал в моей лекторской путевке: «Лектор образно и ярко говорил о трудностях и лишениях воинской службы. Лекция прошла успешно».

А потом написал на меня донос в политуправление округа, что лектор в своем выступлении протаскивал чуждые нам идеи.

Вот ведь какой двурушник. А еще замполит!

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Как только советский народ изберет меня своим лидером, я прежде всего постараюсь встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. В любом подходящем месте.

— Рони,— скажу я ему (или, допустим, Джон),— давайте, наконец, поговорим о разоружении не для пропаганды, а по существу и открыто, без недомолвок. Вы за нулевое решение, я тоже. Давайте вынем все взрыватели из ядерных боеголовок, а все до единой ракеты перекуем на орала. С вашей стороны круглый ноль и с нашей такой же круглый. Как в туалете. Я даже согласен, пусть англичане и французы свои ракеты оставят себе. (Правда, при этом, если они хотят считаться порядочными людьми, они должны взять на себя обязательство в случае мирного конфликта обрушить свои ядерные заряды друг на друга.)

Но если говорить по-честному, во всякой затяжной войне (а война без ядерного оружия будет обязательно затяжная) имеет значение не только военный, но и экономический потенциал. Насчет последнего даже буржуазная пропаганда не может утверждать, будто мы воспользовались разрядкой или еще чем и достигли превосходства над Западом.

Как раз наоборот. Придерживаясь миролюбивой внешней политики, наше государство с самого своего возникновения постоянно, неуклонно и в одностороннем порядке снижало свой экономический потенциал, в то время как капиталистические страны его наращивали.

Наш потенциал мы уже сейчас довели почти до нулевого решения.

Я говорю «почти», потому что кое-что у нас еще есть. В некоторых магазинах даже можно еще купить кусок колбасы.

Это объясняется тем, что мы были первыми. Мы шли неизведанным путем. Кроме того, у нас, к несчастью, оказалось слишком много природных ресурсов, которые мы полностью исчерпать пока не успели. Но и в этом деле наши достижения грандиозны. Вы со мной легко согласитесь, если ваши советники представят вам правдивую справку, сколько золота, нефти, мехов и икры мы ежегодно продаем за границу. А вот проложим газопровод, так и газ весь на Запад перекачаем. Насчет валюты, которую мы от Запада при этом получим, беспокоиться тоже не стоит. Мы на нее какого-нибудь сложнейшего оборудования накупим, в чистом поле сложим, пусть себе там ржавеет.

До круглого нуля нам уже осталось совсем недалеко. Вот еще Продо-вольственную программу выполним, дисциплину поукрепляем и оста-немся совсем без штанов.

Мы Америку много раз догоняли и перегоняли. Попробуйте и вы нас догнать. Доведите вашу экономику до нашего уровня, чтобы равен-ство было не только в вооружении, а и во всем остальном.

Я не утопист и вовсе не думаю, что подорвать экономику такой бо-гатой страны, как ваша, можно немедленно. Но все-таки это возможно, если разработать разумную и долгосрочную программу действий. Мы с удовольствием вам поможем. На всякий случай я составил строго на-учные рекомендации, основанные на нашем собственном историческом опыте. Если вы последуете этим рекомендациям, полный успех обеспе-чен. Разумеется, рекомендации носят лишь общий характер, в процессе внедрения их можно будет дополнить и разнообразить.

Итак, для достижения экономического паритета с Советским Со-юзом вам необходимо:

- 1) Произвести политический переворот, объявить вашу партию единственно ведущей и направляющей силой американского общества во главе лично с вами.

- 2) Остальные партии запретить, наиболее активных членов аресто-вать, лидеров сослать в Советский Союз или даже лучше расстрелять.

- 3) Арестовать членов вашей собственной партии, которые будут противиться переменам, устроить над некоторыми из них показатель-ные процессы и тоже расстрелять.

- 4) Конфисковать у частных владельцев банки, заводы, фабрики, ма-газины, рестораны, корабли, самолеты, автомобили, лошадей, коров, коз, овец и свиней.

- 5) Все отдельные квартиры превратить в коммунальные, а в особен-но больших устроить музеи, общественные уборные, загоны для скота и что-нибудь еще, полезное обществу.

- 6) Капитолий взорвать, на его месте построить плавательный бас-сейн для трудящихся.

- 7) Всех фермеров отправить на Аляску для строительства Трансаль-скинской стратегической железной дороги, а на их фермах создать кол-

хозы, а также местные органы правящей партии и органы государственной безопасности, преобразованные из ФБР и ЦРУ. В колхозы привлечь людей, неспособных к производительному труду, решив таким образом раз и навсегда проблему безработицы.

8) Объявить какую-нибудь науку (например, ботанику) коммунистической лженаукой.

9) Принять меры по гигантскому преобразованию природы Соединенных Штатов и с этой целью повернуть реку Миссисипи в пустыню Невада, где впоследствии можно будет выращивать хлопок и рис. Бывший бассейн реки Миссисипи, само собой, со временем превратится в пустыню, где можно будет добывать песок.

10) Население Гавайских островов переселить в штат Мэн с целью использования на лесоповале.

11) Вам самому взять на себя непосредственное руководство всеми сферами политической, экономической и общественной жизни и постоянно давать указания, как доить коров, строить дома, развивать квантовую механику, разводить кроликов, писать книги, сочинять музыку и так далее.

12) Всем средствам массовой информации, включая газеты, радио и телевидение, ежедневно передавать и печатать целиком ваши длинные и скучные речи.

13) Назвать вашим именем города, поселки, заводы, колхозы, различные средства передвижения, улицы и дома.

14) Во всех городах, деревнях и поселках установить ваши скульптурные изображения и развесить ваши портреты.

15) Учредить пару сотен новых орденов за военную и трудовую доблесть и прежде всего наградить ими вас лично. Разумеется, церемонии награждения должны самым широким образом освещаться органами печати и передаваться по радио и телевидению.

16) Ваши книги, статьи, заметки и отдельные высказывания должны изучаться во всех учебных заведениях, трудовых коллективах и воинских подразделениях.

Я мог бы, конечно, предложить вам еще ряд полезных мероприятий, но если даже вы ограничитесь исполнением выше изложенных рекомендаций, то в течение довольно короткого исторического периода, лет в шестьдесят — семьдесят, экономика вашей страны будет близка к нулевому решению.

Правда, останется еще проблема геостратегического равновесия, потому что, в отличие от Америки, мы окружены враждебными братскими странами, которые в случае мирового конфликта могут повести себя самым коварным способом. Но эту проблему решить совсем просто. Надо только половину китайцев поселить в Мексике, а половину поляков, чехов, болгар, румын, венгров и восточных немцев — в Канаде. Переселить их лучше во сне, чтобы они продолжали думать, что их старший брат Советский Союз по-прежнему живет рядом с ними.

Когда вы все это сделаете, мы смогли бы опять встретиться и вплотную приступить к переговорам о нулевом решении в вопросе ракетно-ядерных вооружений.

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Как-то еще в Москве я оказался в одной интеллигентной компании. Сидя на кухне, пили чай и, как водится, обсуждали все или почти все местные и мировые проблемы и события. Говорили о недавнем аресте двух диссидентов, об обыске у третьего, о повышении цен на золото (интересы присутствующих оно никак не затрагивало), о пресс-конференции Рейгана, о последнем заявлении Сахарова, о Северной Корее, о Южной Африке, уносились в будущее, возвращались в прошлое, стали обсуждать случившееся сто лет назад убийство народовольцами царя Александра Второго.

Одной из участниц разговора была экспансивная и храбрая молодая женщина. Она уже отсидела срок за участие в каком-то самиздатском журнале, ее, кажется, собирались посадить и второй раз, таскали в КГБ, допрашивали, она вела себя смело, дерзила следователю и не дала никаких показаний.

Теперь о событии столетней давности она говорила так же возбужденно, как о вчерашнем допросе в Лефортовской тюрьме.

— Ах, эти народовольцы! Ах, эта Перовская! Если бы я жила тогда, я бы задушила ее своими руками!

— Вы на себя наговариваете, — сказал я. — Перовскую вы бы душить не стали.

Женщина возбудилась еще больше.

— Я? Ее? Эту сволочь? Которая царя-батюшку бомбой... Клянусь, задушила бы, не колеблясь.

— Да что вы! — сказал я. — Зачем же так горячиться? Вы себя плохо знаете. В то время вы не только не стали бы душить Перовскую, а, наоборот, кидали бы вместе с ней в царя-батюшку бомбы.

Она ожидала любого возражения, но не такого.

— Я? В царя-батюшку? Бомбы? Да вы знаете, что я убежденная монархистка?

— Я вижу, что вы убежденная монархистка. Потому что сейчас можно быть убежденной монархисткой. А тогда модно было кидать в царя-батюшку бомбы. А уж вы, с вашим характером, непременно оказались бы среди бомбистов.

Я не знаю точно, какие идеи владели бы умом этой дамы в прошлом, но я догадываюсь.

В Москве и сейчас живет литератор, с которым мы дружили лет двадцать. Когда мы познакомились, это был еще сравнительно молодой

человек, очень пылкий, романтичный и убежденный в том, что у него есть глубокие убеждения. На самом деле собственных убеждений у него никогда не было, те убеждения, которые он считал своими, были добыты не из непосредственного наблюдения над жизнью, а состояли из цитат основателей вероучения, одним из многочисленных последователей которого он был. Мир для него был простым и легко познаваемым, на любой сложный вопрос, задаваемый жизнью, всегда находился все объясняющий ответ в виде подходящей цитаты.

Как легко догадаться, его непогрешимым вероучением, его единственно правильным мировоззрением был марксизм, овладевший умами миллионов, но в то время уже начинавший выходить из моды. К моменту нашего знакомства мой друг уже разочаровался в Сталине и «вернулся» к Ленину. Маленький портрет Ленина в рамке стоял у него на письменном столе, на стене висел портрет Маяковского, а на подставке от цвetoв стоял большой бюст Гарибальди.

Мой друг считал меня циником, потому что я подтрунивал над его кумирами, мои язвительные замечания о Ленине воспринимал как богохульство, я был непрогрессивным, отсталым, не мог правильно оценить явления в их сложной взаимосвязи, потому что с трудами Ленина был знаком лишь поверхностно. «Если бы ты читал Ленина,— назидательно говорил мне мой друг,— ты бы все понял, потому что у Ленина есть ответы на все вопросы».

Я не был антиленинцем, но не верил, что один человек, пусть даже трижды гений, может ответить на все вопросы, волнующие людей через десятилетия после его смерти.

Шли годы. Друг мой не стоял на месте, он развивался. Портрет Ленина однажды исчез, его место заняла Роза Люксембург. Рядом с Маяковским появился Бертольд Брехт. Потом, сменяя друг друга, а иногда соседствуя во временных сочетаниях, появлялись портреты Хемингуэя, Фолкнера, Че Гевары, Фиделя Кастро, Пастернака, Ахматовой, Солженицына. Недолго висел Сахаров. Гарибальди продержался дольше других, может быть, потому, что бюсты менять дороже.

Как-то мы поссорились.

Появившись в доме моего друга несколько лет спустя, я увидел, что декорации резко переменялись. На стенах висели иконы, портреты Николая Второго, отца Павла Флоренского, Иоанна Кронштадтского и других, известных и неизвестных мне лиц в рясах и монашеских клобуках. Гарибальди, покрытого толстым слоем пыли, я нашел за шкафом.

Мы поговорили о том, о чем и когда я высказал по какому-то поводу свои отсталые взгляды; мой друг снисходительно сказал мне, что я заблуждаюсь, и мои заблуждения объясняются тем, что я не знаком с сочинениями отца Павла Флоренского, который по этому поводу говорил... И тут же мне была приведена цитата, которая должна была меня совершенно сразить. И я понял, что годы, когда мы не виделись, не прошли для моего друга даром, он уже вполне овладел новым, передовым

и единственно правильным мировоззрением, и мне его опять не догнать.

Схема развития моего друга характерна для многих людей моего и нескольких предыдущих поколений. Бывшие марксисты и атеисты теперь пришли кто к православию, кто к буддизму, кто к сионизму, а кто к парапсихологии или бегу трусцой.

А когда-то это были романтически настроенные мальчики и девочки. С пылающим взором и мозгами, забытыми цитатами из сочинений классиков единственно правильного мировоззрения. Я лично их опасался гораздо больше, чем профессиональных чекистов или стукачей. Те по лени или отсутствию разрядки могли что-то пропустить мимо ушей. А эти, преданные идеалам, с принципиальной прямоотой могли в лучшем случае обрушить на вас град цитат, а в худшем и вытащить на собрание, не пожалев ни ближайшего друга, ни любимого учителя, ни папу, ни маму.

Теперь эти бывшие мальчики и девочки в своих идеалах разочаровались. Некоторые из них отошли от активной деятельности, сосредоточились на своей работе, истину или не ищут или ищут, но не в сочинениях своих прежних кумиров. И ведут себя тихо.

Но есть и другая категория. Те, которые быстро раскаялись и сами себя простили. И теперь утверждают, что тогда все были такими, как они. А это неправда. Это даже клевета.

Конечно, мы все или большинство из нас подверглись невиданной обработке. Идеология вдальблывалась в нас с пеленок. Некоторые в нее поверили искренне. Другие отнеслись, как к религии, со смесью веры и сомнения: раз столь ученые люди (не нам чета) утверждают, что марксизм непогрешим, так, может быть, им виднее? Большинство молодых людей, если они не росли в семьях религиозных сектантов, были пионерами и комсомольцами, потому что другого пути не знали. Даже невступление в комсомол было уже вызовом всеильной власти (ведь кто не с нами, тот против нас). Но, вступая в комсомол (а иногда даже и в партию), посещая собрания и платя членские взносы, большинство все-таки сохранило способность к сомнениям. И инстинкт совести не каждому позволял вытаскивать на собрании товарища, который шепотом рассказал анекдот о Сталине или признался, что его отец погиб не на войне, а был расстрелян как враг народа. Большинство, конечно, не возражало (возражавших просто уничтожали), но отмалчивалось и уклонялось. Многие люди совмещали искреннюю веру в марксизм-ленинизм с вполне порядочным личным поведением.

Бывшие пламенные мальчики-девочки теперь иногда всерьез верят, что раньше все были такие, потому что они не слышали никого, кроме себя. Некоторые из них, провозглашая теперь антикоммунистические лозунги, опять кричат громче других, хотя именно им, хотя бы из чувства вкуса, следовало бы помолчать.

Я знаю одну немолодую даму, которая, будучи девочкой, так оголтело боролась в своем высшем учебном заведении с идеологической ере-

сю, что даже парторги ее останавливали. В пятьдесят третьем году она обвинила свою подругу на комсомольском собрании, что та не плакала в день смерти Сталина. И теперь, когда эта бывшая девочка пишет в эмигрантской печати: «мы христиане», — меня это, право, корбит. Для меня понятие «христианин» всегда было связано с понятием «совестливый человек», но далеко не каждого из наших новобранцев можно отнести к этой категории людей.

Я вовсе не против того, чтобы люди меняли свои убеждения. Напротив, я совершенно согласен с Львом Толстым, сказавшим однажды примерно так: «Говорят, стыдно менять свои убеждения. А я говорю: стыдно их не менять».

Придерживаться убеждений, которые стали противоречить жизненному или историческому опыту, глупо, а иногда и преступно. Впрочем, я лично (прошу простить за категоричность) н и к а к и м убеждениям не доверяю, если они не сопровождаются сомнениями. И в то, что какое-либо учение может быть приемлемо для всех, тоже не верю.

А вот мой бывший друг в это поверил. Перейдя из одной веры в другую, он верит, что изменился. На самом деле каким он был, таким остался. Только выкинул из головы одни цитаты и забил ее другими. Но остался таким же воинственным, как и раньше. И оперируя новыми (для него) цитатами, намерен пользоваться ими не только для самоудовлетворения, не только для того, чтобы идти самому к новой цели, но и для того, чтобы тащить к ней других.

Мой друг и его единомышленники повторяют давнишнюю выдумку, что Россия — страна особенная, опыт других народов ей никак не подходит, она должна идти своим путем (как будто она им не шла). Демократия создателей новых учений не устраивает. Демократические общества, говорят они, разлагаются от излишних свобод, слабы, они слишком много внимания уделяют правам человека и слишком мало его обязанностям и руководят этими обществами фактически не выдающиеся личности, а серое большинство. Демократии противопоставляется авторитаризм не как компромиссная, а как наиболее разумная форма правления. Я многих сторонников авторитаризма спрашивал, что это такое. Мне говорят вполне невразумительно, что это власть авторитета, то есть некой мудрой личности, которую все будут считать Авторитетом. Но если отбросить испытанную веками практику демократического избрания авторитетной личности путем всеобщих и свободных выборов на ограниченное время и с ограниченными полномочиями, то каким иным способом, кем и на какое время будет устанавливаться чей бы то ни было авторитет? Не будет ли этот Авторитет назначать на эту должность самого себя? И не превратится ли общество опять под мудрым водительством Авторитета в стадо оголтелых приверженцев с цитатами и авторитетами? И разве для сотен миллионов людей не были авторитетами (причем вовсе не дутыми) Ленин, Сталин, Гитлер, Мао? А чем Хомейни не авторитетная личность?

Все эти мудрствования о просвещенном авторитарном правлении могут закончиться новым идеологическим безумием. Они не основаны ни на каком историческом опыте, ни на каких реальных фактах. Где, в какой стране существует хотя бы один мудрый авторитарный правитель? Чем он лучше правителей, избранных демократически и контролируемых «серым» большинством? Чем авторитарные страны лучше демократических?

Эмигрировавшие из Советского Союза проповедники авторитаризма красноречиво отвечают на этот вопрос, местами своего жительства выбирая демократические и никогда — авторитарные страны.

Авторитаристы, как и предшествовавшие им создатели единственно правильных мировоззрений, весьма склонны к риторике и демагогии. Они говорят: «Ну хорошо, ну, демократия, а что дальше?» Можно и их спросить: «Авторитаризм, а что дальше?»

Некоторые авторитаристы уже сейчас, называя только себя истинными патриотами (что по крайней мере нескромно), всех несогласных с собой объявляют клеветниками и ненавистниками России (точно так же, как большевики своих оппонентов называли врагами народа), и мне совсем нетрудно представить, как и против кого они используют полицейский аппарат будущего авторитарного строя, если он когда-нибудь будет создан.

Пока этого не случилось, я рискну сказать, что никаких серьезных проблем без демократии решить нельзя. Вопрос «Демократия, а что дальше?» бессмыслен, потому что демократия не цель, а способ существования, при котором любой народ, любая группа людей, любой отдельный человек могут жить в соответствии со своими национальными, религиозными, культурными или иными склонностями, не мешая другим проявлять свои склонности тоже. Демократия в отличие от единственно правильных мировоззрений не лишает никакой народ своего своеобразия, при ней немцы остаются немцами, англичане англичанами, а японцы японцами.

Я вовсе не утверждаю, что Россия уже сейчас готова к демократическим переменам. Я даже подозреваю, что она совсем не готова. Я только знаю, что, если организм болен раком, глупо думать, что он может выздороветь без всякого лечения или при помощи лечения, не соответствующего болезни.

СОДЕРЖАНИЕ

Молоткастый-серпастый	4
Земляки	7
Хлеб наш насущный	11
Наш человек в Стамбуле	14
Простая труженица (Из цикла «Рассказы о коммунистах»)	18
Ченчеватель из Херсона	21
Как искривить линию партии?	23
ДВС	26
Открытие	30
Отечественная валюта	32
Выстрел в спину Советской Армии	36
Нулевое решение	39
Единственно правильное мировоззрение	42

ВОЙНОВИЧ Владимир

НУЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 19.01.90. Подписано к печати 15.03.90. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,22.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 1845. Цена 30 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

НОВОЕ В ЛИЧНОМ СТРАХОВАНИИ.

Вниманию граждан, предприятий, организаций!

● Органы государственного страхования предлагают вам широкий выбор услуг по личному страхованию.

● Новыми условиями личного страхования значительно расширен перечень страховых событий, при наступлении которых производится выплата страховых сумм. Снято большинство условий, ограничивающих выплаты страховых сумм по рисковым событиям, связанным с жизнью и здоровьем граждан. Страховая сумма выплачивается теперь за сам факт несчастного случая, а не его последствия (как было раньше), при этом в ряде случаев увеличен размер выплат.

● Новыми правилами предусмотрена возможность оформления договора смешанного страхования жизни сроком на 3 года. По страхованию детей и к бракосочетанию по окончании договора страховую сумму может получить сам страхователь.

● Предприятиям и организациям предоставлено право уплаты платежей за счет собственных средств по договорам страхования своих работников.

Госстрах РСФСР